



Елена Арсеньева

Несбывшаяся любовь императора

«Автор»

2010

Арсеньева Е. А.

Несбывшаяся любовь императора / Е. А. Арсеньева — «Автор»,
2010

ISBN 978-5-699-45274-3

Император Николай Первый, которого обвиняли в жестокосердии, считали тираном и солдафоном, был прежде всего любящим мужем и отцом. Его супруга Александра Федоровна считала себя счастливейшей из женщин – муж, называвший ее «маленькой птичкой», был к ней неизменно внимателен и сердечен, с готовностью исполнял любой ее каприз. Да, в его жизни были и другие женщины, но любил он по-настоящему лишь одну, ту, с которой был обвенчан и которая стала матерью его детям. Не потому ли, поняв, что не равнодушен к молодой талантливой актрисе Варваре Асенковой, он не позволил себе дать волю чувствам, сделав несчастной и ее, и – как знать? – возможно, и самого себя...

ISBN 978-5-699-45274-3

© Арсеньева Е. А., 2010

© Автор, 2010

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Конец ознакомительного фрагмента. | 36 |
|-----------------------------------|----|

Елена Арсеньева

Несбывшаяся любовь императора

*Первую песенку, зардевшись, спеть.
Русская поговорка*

Матушка Пресвятая Богородица! – пробормотала стоявшая позади Александра Егоровна, и Варя почувствовала, как сложенные щепотью пальцы сильно упираются ей в шею, в поясницу, потом в оба плеча.

Это маменька крестит дочку перед самой страшной минутой ее жизни или перед самой счастливой? Ой, теперь уж не понять, фортуна рассудит! Крестит задом наперед... Но сие уже не важно, и поправлять некогда.

С отчаянным полупшепотом-полувоплем «Заступница! Помоги!» Александра Егоровна ткнула Варю в спину, и из-за кулис вылетело на сцену обворожительное создание в роскошном, многоцветном турецком костюме и пунцовой чалме.

Произошло это столь стремительно, что остроносые, без задника, турецкие туфли-папуши едва не слетели с ног и Варя забавно затопталась на месте, сиюсь удержать равновесие. В зале раздались смешки, Александра Егоровна в ужасе прижала ладонь ко рту, чтобы сдержать страдальческий стон.

Все! Обсмеяли! С первого же шага на сцене обсмеяли Вареньку! Ох, лучше бы она по-прежнему театра чуралась! И хотя Александра Егоровна, одна из ведущих актрис Большого императорского театра в Санкт-Петербурге, все же пристроила малолетнюю дочку в Театральную школу (а кем же еще стать дочери актрисы, как не актрисой же?!), дело у Вареньки там не заладилось. Признали ее бездарной, маменька и забрала, крест на ее актерской карьере поставила. Но вот год назад вдруг ни с того ни с сего, неведомо с чего, пробудилась наследственная жажда сцены... Варя уговорила матушку и Ивана Ивановича Сосницкого взять ее на роль в бенефисе... Ох, какая она оказалась настойчивая, так умоляла, словно дело о жизни и смерти шло! И вот к чему все привело! К провалу! К смеху! Сейчас начнут ошикивать, свистеть, а может, кто-то из недоброжелателей – мало ли их у Александры Егоровны?! – кинет в дебютантку какую-нибудь гадость вроде дохлой кошки или вовсе что-то неудобьсказуемое... И это в присутствии членов императорской фамилии, почтивших бенефис своим присутствием! Нет, Александра Егоровна этого не переживет, конечно, не переживет!

Она прикрыла глаза, приготовившись скончаться на месте, однако внезапно до нее дошло, что ошикивания не слышно, а смех-то звучит вовсе не зло, а даже как бы сочувственно. Поглядела – и увидела на лицах зрителей то же веселое сочувствие. Ну что ж, в самом деле, ведь Роксолане, русской пленнице, которую играет Варя в комедии «Солейман II, или Две султанши», негде было научиться басурманские обувки носить. Немудрено, что едва не растеряла их!

У Александры Егоровны несколько отлегло от сердца. Ну, может, все еще и обойдется... Теперь главное, чтобы Варенька не растерялась.

А она растерялась-таки...

Широко раскрытыми, ничего не видящими глазами девушка уставилась туда, где на утренней репетиции стоял Иван Иванович Сосницкий, изображавший турецкого султана, и где он должен был стоять сейчас. Солейман уже подал свою реплику. Теперь Варина очередь.

Боже! А что говорить-то? Она не помнит ни слова! И кровь так стучит в ушах, что под-сказки суфлера не слышно...

У Вареньки отчаянно защипало губы (чтоб ярче блестели на сцене, жена Сосницкого, Елена Яковлевна, натерла их лимоном), и вдруг слова роли вспомнились как бы сами собой.

Несмотря на то что ее отчаянно трясло, а перед глазами реял туман, голос все же зазвучал смело, даже дерзко – словом, именно так, как того требовала роль одалиски:

– Ах! Вот, слава Богу, насилу нашла человеческое лицо! Так это вы тот великий султан, у которого я имею честь быть невольницей? – Она сделала положенную по роли паузу, и тут туман перед глазами наконец-то рассеялся. Однако легче не стало. Куда там! Ужас только усугубился! Варенька сообразила, что, пытаясь справиться с папушами, спутала направление, и Сосницкий-Солейман находится не перед ней, а немного в стороне, так что обращается Варя не к нему, а к ложе бельэтажа, которая сияла и сверкала, словно в ней собралась стая райских птиц. Это были, конечно, не птицы, а роскошно одетые дамы, но впереди, у самого барьера, стоял высокий, статный мужчина в военной форме с эполетами. У него были правильные черты лица, холодноватые голубые глаза и светлые волосы, скульптурно прилегающие к красивой голове. Губы его были тронуты надменной улыбкой, брови приподняты. Похоже, он удивлялся, что невольно стал героем водевиля...

Даже в том полубреду, в каком пребывала дебютантка, ей показалось знакомым это чеканное лицо. Она уже видела эти глаза, эти губы с тем же выражением высокомерия. Видела этот открытый лоб и даже мундир с тугим воротом. Только тогда этот человек восседал верхом на белом коне, одной рукой держа повод, а другую заложив за борт мундира. Где же это было? Где Варя могла видеть его?

Бог ты мой! Да на портрете! В фойе Большого императорского театра, что на Театральной площади Санкт-Петербурга, висит портрет: великолепный, превосходный, вполне достойный оригинала, который теперь с холодноватой улыбкой смотрит на молоденькую актерку.

А ведь в фойе театра висит портрет государя императора Николая Павловича... А это, значит, не кто иной, как...

Ну как тут не возопишь вслед за маменькой Александрой Егоровной: «Пресвятая Богородица, заступница, помоги!» Ведь свой монолог о человеческом лице злосчастная дебютантка обратила не к какому-то там выдуманному турецкому султану, а к русскому государю!

Император свысока смотрел на перепуганную актрису, и вдруг в глубине этих ледяных глаз словно бы что-то подтаяло, губы дрогнули в улыбке, теплой, почти дружеской... Да ведь у него и правда человеческое, а не императорское, не казенное лицо!

Варю мгновенно отпустило. Она задорно продолжила реплику:

– Если так, то, пожалуйста, потрудитесь, любезный мой повелитель, выгнать отсюда сию же минуту это пугало! – Варенька ткнула пальцем вправо, где надлежало стоять актеру Алеше Мартынову, который изображал главного зрителя султанского гарема. Ну этот, по счастью, ничего не перепутал, оказался на месте, реплику подал, какую нужно, хотя и был напуган случившимся сверх всякой меры и лицо его с наклеенным носом, более напоминавшим кривую саблю, со страху пошло пятнами.

Зал, не заметивший Вариной оплошности, разразился хохотом, и это вывело из оцепенения Сосницкого, да и всех прочих, и действие пошло, покатилося. Варя шаловливо вела роль, больше ни разу не споткнувшись, лишь изредка бросая украдкой взгляд в сторону императорской ложи. Она даже и не видела ничего, но чувствовала, что оттуда исходит теплый, согревающий свет, словно там было солнце, и от этой мысли ей становилось так легко и радостно, что она даже не заметила, как первое действие бенефиса – водевиль про султана и трех его одалисок – закончилось, занавес сомкнулся, потом вновь разъехался, и актеры вышли на аплодисменты.

Варенька кланялась, кланялась и наконец решилась поглядеть направо.

Солнце светило улыбкой!

Она улыбнулась ответно – и едва успела увернуться: половинка тяжелого бархатного занавеса чуть не стукнула ее по голове.

Надо было срочно переодеваться для второго отделения – водевиля «Лорет, или Правда глаза колет». Это была совсем другая роль: озорная, смешливая, с песенками, которые Варя очаровательно пропела под гитару своим хорошеньким голоском, и партер снова неистовствовал в криках «браво!», снова вызывал:

– Асенкова! А-сен-ко-ва!

– Вот вам и Асенкова, – усмехнулся император. – Не слышали, не видали... А взошла, как первая звезда! Такой талант достоин награды! – И он снова зааплодировал, широко, щедро улыбаясь.

Все, кто был в ложе: императрица Александра Федоровна, великая княжна Мария Николаевна, по-домашнему Мэри, ее жених, герцог Максимилиан Лейхтербергский, фрейлина Мария Трубецкая, Григорий Скорский, кавалергард из числа флигель-адъютантов императрицы, – ответно заулыбались, подхватили аплодисменты.

Александра Федоровна, привычно покосившись в сторону Скорского, заметила, что он вдруг замер. Впрочем, он тут же встрепенулся и снова зааплодировал вместе со всеми, но Александра Федоровна внимательнее взглянула на него и заметила, как вымученно он улыбается. А глаза... Эти чудесные зеленые, такие загадочные глаза, из-за которых императрица тайно, только в разговорах и переписке с ближайшей подругой Софи Бобринской, называла Скорского *Secret*, потемнели, помрачнели... Да они мрачны, как никогда, и на лице его, точеном, тонком, дерзком лице внезапно мелькнуло выражение такой острой боли, словно его сердце пронзили стилетом.

Прямо вот здесь, в императорской ложе, прямо сейчас к нему подошел незримый убийца, ударил незримым стилетом... Никто ничего не увидел, а Скорский стоит, истекая кровью и силясь скрыть от окружающих свои страдания.

Скрыл от всех – одна императрица успела заметить, потому что она всегда замечала и его, и все, что с ним происходило.

Что случилось? Что вдруг случилось?!

Ничего, верно? Или все же...

Догадка, острая, как тот незримый стилет, коснулась ее сердца.

Нет, не может быть! Или может?!

А почему нет? Говорят про Скорского – он-де с некоторых пор стал заядлый театрал... Да-да, она теперь вспомнила и эти разговоры, и старые анекдоты про его юношеские забавы в Театральной школе, из-за которых отец едва не выгнал его из дому... Якобы с тех пор он сторонился театра, а потом опять то и дело на спектаклях, за кулисы вхож, будто к себе домой...

Неужели?..

У императрицы нервно дернулась голова – раз, другой, третий. Этот нервный тик привязался к ней после одного страшного дня 1825 года, но так и не прошел, возобновляясь в минуты самых больших волнений. Впрочем, Александра Федоровна вообще легко приходила в волнение...

Император обернулся к жене и сразу заметил, как трепещет его маленькая птичка. Именно так – «моя птичка» – он называл свою невесту, а потом и жену, королеву прусскую Фредерику-Луизу-Шарлотту-Вильгельмину. Беленькая, румяная, нежная, с удивительно тонкой талией, она казалась ему неземным существом. Первым чувством его была не страсть, не жажда обладания ее красотой, а желание защитить ее, согреть, уберечь от треволнений мира. С первой минуты встречи он дал себе клятву в этом – и старался эту клятву исполнять всегда, всю жизнь. Для этого он посадил свою маленькую птичку в самую прекрасную клетку, какую только можно было себе вообразить, – в золотую клетку своей любви и нежности, берег, любил, охранял... и горько каялся, если какие-то обстоятельства порой вынуждали его нарушить священную клятву.

Ах, Боже ты мой! Да что это с ней? Неужели приступ ревности из-за его теплого отзыва об этой хорошенькой актрисульке? О Боже, Александрина никак не разучится ревновать мужа к всякой ерунде!

Император и угадал, и ошибся.

Да, Александра Федоровна ревновала!

Но... вовсе не его.

* * *

Ой, какая тоска тоскучая... Варя думала, что здесь непрестанно что-нибудь разыгрывают, поют или танцуют – а как же иначе, в Театральной школе ведь и учат будущих драматических, балетных и оперных актеров для императорских театров! Но ничего подобного. До настоящей игры и пения, до танцев еще далеко. Зубрежка да и зубрежка, как в самой обыкновенной казенной школе. Вся-то разница, что не только аз, буки, веи талдычат, а выделять разные батманы и прочие ронд-жамбы¹ заставляют, не только дважды два четыре затверживаешь, но и do-re-mi-fa-sol-la-si завываешь в разных октавах, а вместе с Законом Божьим зубрика невесть какие монологи цариц или богинь, да как можно быстрее зубри, да произноси без запинки, чтобы привыкнуть потом, на театре, всякую роль за сутки-двое выучивать. Говорят, в старших классах повеселее будет, там воспитанникам позволяют участвовать в спектаклях, а в элементарном классе, куда поместили Варю с прочими новичками, скукота и тоска. Жить надо было при школе, домой отпускали редко. Ходили воспитанники все время в казенном платье из китайки да в танцевальных башмаках. Поднимали с постели в шесть утра по звонку, и еще прежде завтрака (а завтрак – всего лишь кружка сбитня да булка трехкопеечная) вели в танцевальную залу – к длинным палкам, прибитым вдоль стен. Это станки, возле них надобно учиться всяческим кунштюкам, которые и суть балетное искусство. Балетные классы в школе – самые главные, балету отдано по воле начальства преимущество. Только потом начнется распределение будущих актеров по иным специальностям, а прежде всего надобно овладеть балетной премудростью. Но сколь же постижение ее бывает мучительно и даже мучительно, особенно в шесть утра в нетопленной зале, в дальнем углу которой горит всего одна оплывшая сальная свечка, не доеденная мышами из-за своей старости... Она чадит и трещит, мечет по сторонам искры, а на потолок – пугающие тени от резких взмахов рук и ног. В сон клонит... Чуть смежишь от усталости глаза, как наваливается дрема. Но не тут-то было – немедля репетитор с палкой подкрадется, тычок в бок – и снова изволь махать руками и ногами!

У многих получалось, оттого и было им интересно в Театральной школе. У Вари же не получалось, вот она и скучала. Кто-то мечтал о славе или деньгах, именно это и помогало сносить рутину обучения. Варя о театральной славе не мечтала, потому что знала: и ее, пташки залетной, и денег не так-то просто дожидаться. Нагляделась, как маменька с копейки на грош перебивается. Если еще в премьерши выйдешь, то ладно, но это лишь для больших талантов, к которым Варя – она в этом не сомневалась – не принадлежит. А участь фигурантки (да и фигуранта!)² – самая в театре незавидная. Не единожды Варя слышала, как сосед Асенковых и воспитанник старшего касса Театральной школы Петр Каратыгин, большой любитель, несмотря на молодые года, пофилософствовать, а особенно во всеуслышание потолковать о превратностях театральной жизни, сетовал: «Мрачная персона фигурантской службы очень непривлека-

¹ Battement (батман) – размах, биение (*фр.*). Различные виды движений ног – отведения и приведения: battement tendu (батман-тандю), battement frappe' (батман-фраппэ), battement double frappe' (батман-дубль фраппэ), battement fondu (батман-фондю) и др. Rond de jambe (ронд-де-жамб) – круговое движение ноги (*фр.*). Бывает rond de jambe par terre (ронд-де-жамб партер) – круговое движение ноги по полу, круг носком по полу и rond de jambe en l'air (ронд-де-жамб-ан-лер) – круг ногой в воздухе.

² Фигуранты, или выходные, – так в описываемое время назывались актеры для массовых сцен, статисты.

тельна. Фигурант – самое жалкое существо в театральном мире. Ни к кому из земных тружеников так не подходит русская поговорка: «Неволя пляшет, неволя скачет», как к нему. Вечно толкущийся, вечно смеющийся, он, бедняга, как автомат, осужден допрыгивать свой век, при возможных лишениях, до скудного пенсионера!»

Да и где он, тот пенсионер!.. Единственное, чего дождешься, – это назойливого внимания мужчин, которые хорошенькую фигурантку всяко-разно будут улещать и ко греху склонять, а потом сделают ручкой «adieu!» – и исчезнут восвояси.

Точно так же исчез когда-то человек, которого матушка называла Вариним отцом. Варя была слишком мала и отца не помнила. Сестры Варины родились от другого человека, с ним маменька обвенчалась, а Варя незаконная... Да и ладно, мало ли таких в их доме на Офицерской улице, близ Большого театра!

Это был особенный дом. Принадлежал он купцу Голлидею, но весь его сняла дирекция Большого театра для актеров русской труппы и конторы театра. И почти все друзья-подружки-соседи Вари по дому Голлидея шли в Театральную школу – и старшие, и младшие.

Актеры – народ не вполне обычный, и Театральная школа была не обыкновенной. Тут учились жить, притворяясь, это раз. А еще – и девицы, и молодые люди учились тут вместе, и это считалось самым удивительным.

Варя-то была еще совсем девчонка, но и она понимала, что там, где собирается вместе молодежь, немедля распускает во все стороны свои стрелы шалунишка Амур. Сама она, конечно, ни в кого по малолетству не влюблялась, но могла видеть множество романов. Вспыхивали они и между воспитанниками, но это было не так интересно, как романы между барышнями из школы и господами с улицы. То есть господа эти были не свои, не школяры, они являлись невесть откуда, всеми правдами и неправдами домогаясь встречи с избранницами своего сердца. Чудеса тут бывали всякие, но один случай Варя запомнила навсегда.

В школу порой хаживал рыжебородый сбитенщик в сером армяке, которого сторожам велено было пропускать без всяких препон: ну надо же воспитанникам порой полакомиться! Однако его приход доставлял радость лишь тем, у кого находился гривенник. Таким счастливым отворялась баклага со сбитнем и кулек с булками и сухарями. В долг сбитенщик не давал никогда, никому и ничего. Но как-то раз случилось чудо. Пришел другой сбитенщик – с огромной черной бородой, в коричневом армяке. Картуз был надвинут низко и закрывал лицо, однако это не мешало ему удивлять будущих артистов своей щедростью. Первое дело, в баклаге его был не сбитень, а шоколад, а второе – в кулке оказались горой навалены бисквиты, бриоши и конфеты в виде разнообразных музыкальных инструментов. И самое чудесное, что он раздавал все даром!

Варя прибежала позже других и увидела конфеты, проворно исчезающие во ртах.

– А мне? – спросила она упавшим голосом.

Сбитенщик посмотрел на нее из-под козырька своего низко надвинутого картуза. Глаз его не было видно, но в густой бороде вдруг промелькнула улыбка.

– А тебе, синеглазка, я оставил лучшую конфету, – сказал он неожиданно молодым голосом и вынул из кармана шоколадную гитару в золотой, туго шуршащей фольге. – Съешь, пусть твои чудесные глаза ярче заблестят!

Варя замерла. Глаза у нее и правда были синие, но никто и никогда не говорил ей, что они чудесные. И вот так, синеглазкой, ее никто не называл.

Она так смутилась, что уронила конфету.

– Вот растяпа, терпеть таких не могу! – капризно сказала старшая воспитанница Ирисова, хорошенькая и розовенькая, словно миндальное пирожное.

Сбитенщик покачал головой и поднял шоколадную гитару.

– Немедленно бери и ешь! – строго сказал он Варе. – Жаль, что марципановые булочки кончились. Тебе надо есть получше, а то одни глаза останутся. А у красавицы много чего еще должно быть, кроме глаз! – И он повел рукой вокруг своей груди.

Мальчики рассмеялись, девочки покраснели и бросились врассыпную. Ну что ж, все равно сладости уже кончились. Не тронулись с места только старшие воспитанницы.

Ирисова фыркнула, окинула Варю пренебрежительным взглядом и отвернулась.

– Ну бери же! – Сбитенщик сунул Варе шоколадку, а потом отшвырнул свою пустую баклагу, скомкал кулек – и подошел к Ирисовой, взял ее за руку...

«Что это он?» – удивилась Варя.

– Ах, амур, амур, – пробормотала Варина подруга Надя Самойлова. Она была ужасная проныра и все про всех знала, хотя, случалось, и привирала малость для пущего эффекта. – Он такой же сбитенщик, как я императрица Жозефина. Борода у него приклеенная, сразу видно. Он за Ирисовой пришел поухаживать, щедрость свою показать. Какой галантный кавалер!

– Поухаживать за Ирисовой? – переспросила Варя, наконец-то начиная понимать суть происшедшего, но тут двери главной залы распахнулись, и откуда ни возьмись в фойе появился сам князь Шаховской, известный драматург, главный директор Императорских театров, главный начальник Театральной школы.

– Что это у вас здесь, господа? – крикнул он сердито, а его толстошее, некрасивое лицо так и пошло гневными пятнами.

Все бросились врассыпную, сбитенщик канул невесть куда. Кажется, его искали, но так и не нашли. Варя думала, что он успел сбежать, однако на другое утро выяснилось, что он все-таки не сбежал.

* * *

О, Большой театр Санкт-Петербурга в тот вечер просто бурлил! Его так и заливало волнами разнообразных чувств, и прежде всего – ревности. Чуть не все зрители мужеского пола в одночасье влюбились в эту дебютантку, в Асенкову. Ах, какие ножки, какие бедра, какая талия, какая, пардон за нескромность, грудь! Даже под юнкерским мундиром весьма и весьма задорно выступает! И не только грудь, но и – ах, еще один пардон – задница прехорошенькая! С какой стороны ни погляди, хоть сзади, хоть спереди, хоть сбоку, хоть со стороны таланта – сущая новая звезда, une nouvelle étoile³, вспыхнула на сцене. Вот кабы ею завладеть! Конечно, этаким брильянтик оправы недешевенькой потребует, достанет ли у кого на такую оправу?.. Многие господа как в партере, так и в ложах, а тем паче на галерке мысленно заглянули в свои кошельки. Большинство их (особенно те, что с галерки) тут же и смирились, что на роду им написано лишь платоническое обожание хорошенькой этуали, однако иные предовольно подмигнули в сторону сцены, положив себе начать ухаживать за этой Асенковой безотлагательно, а ежели было сие подмигивание замечено дамой или супругой, она грозно или плаксиво супилась, и вот тут-то начинали клубиться-пениться те самые волны ревности, о которых шла речь несколько ранее. Грудь у дам высоко вздымалась, почти выскакивая из корсета, веера ходуном ходили в руках, кулачки так крепко сжимались, что обтягивающий их атлас перчаток едва не лопался по швам... а на иных кулачках и лопался-таки, являя миру высшую степень ревности, такую, которая зовется среди понимающих людей *jalousie insensée, formidable, terrible* и даже, не побоимся этого слова, *fatale*...⁴

Именно приступ такой ревности испытывала сейчас сидевшая в ложе второго яруса дама в сером платье, на первый взгляд скромном, а на самом деле – вызывающе, по-купечески доро-

³ Новая звезда (*фр.*).

⁴ Ревность безумная, чрезмерная, ужасная... роковая (*фр.*).

гом, под серой же вуалью. По облику – богатая вдовушка, не выдержавшая срока траура и явившаяся в театр незадолго до его истечения, однако скажем сразу – она не была вдовой, хоть и мечтала таковой сделаться, одевалась же в серое, чтобы не привлекать излишнего внимания... Занятно – вся жизнь ее состояла в том, чтобы обратить на себя мужское внимание, но иногда все же приходилось скромничать. Ложа ее, нарочно снятая (за бешеные деньги, само собой), помещалась как раз наискосок от императорской, так что в двойную лорнетку даме были отчетливо видны не только все там находившиеся, но и выражение их лиц. Особенно одно лицо привлекало ее...

По странному совпадению, это было лицо того самого человека, из-за которого разволновалась сама императрица. Однако ее волнение и ее ревность были просто легкой вспышкой по сравнению с тем шквалом чувств, который бушевал в сердце дамы в сером. И если бы какой-то вездесущий и незримый персонаж трагического водевиля, который мы все ежедневно разыгрываем по воле слепого, как старик Гомер, драматурга по имени Рок, мог прочесть мысли этой дамы (ее, к слову сказать, звали Натальей Васильевной Шумиловой), то извлек бы материал если не для трагедии, то для драмы уж наверное. А впрочем, все же для трагедии, которая начинается спокойно, мирно, безобидно...

...Итак, он все же приехал в театр! Ну что же, Наталья Васильевна и не сомневалась. Само собой, он и не мог не приехать – все же адъютант императрицы, один из ее четырех флигель-адъютантов, которым вменено в обязанность, если не всем, то поочередно сопровождать свою госпожу и Прекрасную Даму куда бы она ни следовала. Ну да, они служат ей, словно *les chevaliers* из романов своей *la Belle Dame*⁵ – служат и втайне ее обожают. Дама недоступна, как ей по амплу положено... Ах, батюшки, вот они, эти глупые поездки в глупый театр – Наталья Васильевна уже набралась здешних нелепых словечек!

Прекрасная Дама, значит, холодна и недоступна, как ей по роли... – тьфу! опять! – ... как ей по статусу положено, однако порой очень даже не властна она над своими взглядами. Эти взгляды так и мечутся от князя Александра Трубецкого, имеющего в кругу императрицы прозвище Бархат, к Секрету – Скорскому...

Секрет... О да, более непроницаемое и загадочное лицо трудно представить! Очень правильное прозвище дала ему императрица. Невозможно угадать, о чем он думает, чего желает, что причиняет ему боль или делает счастливым. Он старается скрыть все о себе – в себе, а на люди выставляет только незначительную мелочь. Ну да, наследник разорившегося состояния, ну да, на Кавказе сам себе составил боевую славу, которая воскресила память о роде Скорских и вернула к нему уважение, ну да, блистательный танцор... Даже и не поймешь толком, за что сделался одним из четырех флигель-адъютантов, за эту славу или за вальсирование: кружится, кружится, словно земли не касается, и в это воздушное кружение вовлекает даму, не сводя с нее глаз, и она, чудится, уже душу готова продать за то, чтобы музыка не кончалась, чтобы не прекращался полет, чтобы не отводил от нее кавалер своих дурманных зеленых глаз...

О, конечно, всем известно, что императрица страстно любит вальсировать. С легкой руки некоего модного стихотворца ее так и зовут все – Харита среди Харит. Не этим ли объясняется ее привязанность к Скорскому? Или все же... все же и ее приманил зеленый неверный пламень этих глаз?

Боже сохрани сказать такое! Но подумать-то можно?

Нет, лучше не думать, потому что от одних только мыслей сердце бешено застучало. До боли!

Наталья Васильевна так стиснула ручку веера, что услышала легкий хруст. Тонкая, резная слоновая кость треснула между ее напрягшимися до боли пальцами... Вот ведь что, даже слону не выдержать, а женскому сердцу каково? Оно бесконечно доверчиво, падко на приманку

⁵ Рыцари... Прекрасная Дама (*фр.*).

счастьем... Женщина – та же бабочка легкокрылая, которая вечно мечется над обманчивыми и опасными огоньками. И влечет, и крылышки обжечь страшно. Огоньки эти – мужчины, с их бесстыдными желаниями и лживыми посулами. Вот так же и Наталью Васильевну однажды ослепил блуждающий огонек...

Блуждающий! Какое верное слово нашла она для него! Еще можно сказать – блудодействующий! Но по виду... ничего такого сказать по виду его было невозможно. Чудилось со стороны – горит ровный, приятный, совершенно неопасный пламень. Вокруг вспыхивали и перемигивались огонечки куда более опасные!

Однако он любому из них мог дать фору, и Наталья Васильевна вскоре в этом убедилась, да так, что крылья ее навсегда остались опаленными. И ничего ей больше не оставалось, как метаться возле этого пламени, будучи не в силах взлететь. И не было у нее большего желания, как вновь обгореть.

А ведь раньше... Раньше-то всегда удавалось и крылышки погреть, и улететь вовремя. А как встретилась с ним, так и пропала.

– Асенкова! – заорал кто-то над ухом.

Наталья Васильевна вздрогнула, встрепенулась.

Эта тонконогая девчонка снова выходит pour les compliments – на аплодисменты. Да что они все в ней нашли?! Но не все, нет, не все. Как посмотришь, отбивают ладони только мужчины, а дамы так и испепеляют ее ненавидящими взглядами. Чувствуют, сколько огорчений принесет им эта синеглазая тонконогая певунья, вертихвостка эта дешевая, эта...

– Асенкова!!!

Вот, опять орут что есть мочи!

Наталье Васильевне очень хотелось заткнуть уши, броситься вон из залы, но она не могла решиться уйти, пока оставалась надежда, что Скорский заметит ее, подаст знак... А вдруг?! Ведь именно с надеждой на то, что меж ними все наладится, и приехала она нынче в театр... И уткнулась, как в стену, в разочарование.

Нет, не глядит. Устремился к сцене, на которой раскланивается тонкая фигурка. Не рукоплещет, не орет, лишь чуть вздрагивают губы, словно шепчут:

– Асенкова, Асенкова, Асенкова...

Асенкова!

Наталья Васильевна мрачно покачала головой. Как подумаешь, сколько на свете пренеприятнейших, пакостнейших совпадений! Опять эта фамилия! Опять Асенкова! Уж она не хотела давать воли давнему воспоминанию, однако оно так и лезет в голову! Так и лезет!

* * *

Первый раз эту фамилию Наталья Васильевна Шумилова услышала десять лет назад. Ей было тогда тридцать, и она наконец-то поняла, что и при нелюбимом, постылом, нежеланном муже можно жить счастливо и исполнять любые свои причуды.

Самое главное – не обращать на супруга никакого внимания. Его все равно почти никогда в Питере нет. То он на Урале, то в Азове, то в Царицыне, то в Москве... Там – дела. Тут, в столице, только редкие встречи с иноземными негоциантами, которые продают товар за границу. Жену почти не замечает. Ну что ж, Наталья Васильевна всегда знала, что Шумилов, с которым сговорена была она с младенчества по старинной дружбе родителей, взял ее только из-за денег – ну и во исполнение воли своего отца. Но эту волю он непременно нарушил бы, кабы не поставил Василий Петрович Полевой, отец Натальи, условие, что передаст своему молодому компаньону все права на владение и управление знаменитыми соляными копиями и медными рудниками, которые и составили капитал общества «Полевой, Шумилов и сын», потом, после смерти отца Николая, просто «Полевой и Шумилов».

Наталья знала, что о ней с ранней юности шла дурная слава, знала, что тянулся этот черный хвост не просто так... У отца были все основания сокрушаться о поведении дочери, и, хотя она с малолетства была редкостная красавица (это ее и сгубило!), жену-шлюху мало кто захочет взять просто так, без приданого, да не простого, а баснословного. Николай Шумилов понимал, что если он откажется, то Полевой вышвырнет его из компании. А без доли Полевого ему не выжить, тот его проглотит, прожует и не подавится. Вот и продал Николай Шумилов свою свободу... За большие деньги продал!

Да, впрочем, и Наталья не пострадала. Слишком любил свою единственную дочь Василий Полевой, чтобы не позаботиться о ней, какая бы она ни была дурная, порочная, взбалмошная (правда, взбалмошной ее назвать было трудно, и хотя вела она себя порой, как обычная вздорная бабенка, купеческая жена и дочь без царя в голове, движимая только своими причудами, ума ей было не занимать – того пронзительного и легковесного женского ума, который порой весомее и решительнее мужской осторожной основательности). По завещанию Полевой определил немалую сумму, которую Шумилов при любых условиях должен был назначить жене на содержание. Наталья могла жить вполне безбедно и в свое удовольствие: большие деньги дают человеку право поступать так, как ему хочется!

Ну так вот... Про то, чтобы жить счастливо и исполнять любые причуды... Эта новая причуда Натальи Васильевны звалась Николай Дюр, и был он воспитанником Театральной школы. Его держали на подхвате, фигурантом, отправляя то на один спектакль, то на другой то в одну труппу, то в другую, смотря откуда приходило требование на воспитанников-фигурантов. Сегодня они висели на особых петлях высоко над сценой, изображая ангелов или купидонов, завтра бряцали оружием и маршировали в костюмах каких-нибудь древних ирландских воинов, послезавтра сидели кружком вокруг бумажных костров половецких кочевников... Дюр, впрочем, был в ту пору любимым учеником самого Дидло, который в Театральной школе преподавал балетное искусство. По отзывам учителя, юноша подавал большие надежды, а оттого ему поручали уже серьезные, хоть и небольшие сольные танцевальные роли – с движением, как говорили воспитанники, а не со словами.

Мальчишке едва ли исполнилось семнадцать, и Наталья Васильевна, увидев его случайно, просто ошалела от этих бело-золотистых, вьющихся волос и темных, загадочных глаз. Именно от таких – тонких, звонких, не по-русски subtilных, длинноногих, изящных юношей она всегда и шалела. Она возжелала его всем сердцем, всей хотью и всей плотью своей и начала частить в театры, разрываясь между Большим и Немецким, где сидела среди патриархальной публики (некоторые пожилые фрау являлись в театр с вязаньем и порой, утирая слезы, пропуская петли, а потом вновь с удвоенным проворством щелкали спицами в сценах, не требующих сердечного сопереживания).

Наталья Васильевна привыкла получать все, чего хотела, но как подступиться к этому мальчику, не знала. Пусть закон и был для нее не писан, и правил женской скромности она почти не ведала, однако же внешние приличия, хочешь не хочешь, соблюдать приходилось. Это мужчинам дозволено посылать записочки хорошеньким артисточкам, назначать им свидания, а женщине вроде бы неуместно... К тому же с грамотой у Натальи Васильевны были изрядные нелады, а поручать описывать свои чувства и желания наемному человеку она вовсе даже не хотела, поэтому предпочитала действовать не письменно, а устно. Причем напрямую.

Князь Шаховской, главный директор Императорских театров, к своим обязанностям воспитателя молодых талантов относился трепетно, из-под его ферулы, как выражались на театре, вышло немало замечательных актеров. Кроме того, что лишь только он из русских авторов писал тогда пьесы для сцены, он был еще учителем декламации в Театральной школе. Репетициям отдавал все силы, даже порой возил к себе на дачу воспитанников и воспитанниц, чтобы там зубрить роли, ибо нетвердого знания текста не прощал.

Ходили слухи, что возил князь девиц ради встречи с богатыми любителями молодости и красоты, хотя, может, это были только лишь слухи. Так или иначе, Наталья Васильевна не могла обратиться к Шаховскому с подобной просьбой – привезти для нее полюбившегося красавчика. Зато она могла свести дружбу с Катериной Ивановной...

Актриса Катерина Ивановна Ежова была многолетней подругой князя, и, как рассказывали люди сведущие, он ее побаивался, словно Сократ Ксантиппу, ибо она была необразованная, сварливая женщина, обожавшая закулисные интрижки. Из своего карманного драматурга она вила веревки, хотя актрисой была довольно посредственной. При этом она отличалась необычайно громким, зычным голосом, и Шаховской всегда для нее сочинял очень эффектные роли болтливых старух. Если в пьесе нужна была такая бой-баба, Катерина Ивановна оказывалась совершенно на своем месте.

Однажды Наталья Васильевна отправила ей за кулисы букет и премилый серебряный браслет, а потом явилась сама и такой ловкой лестью втерлась в доверие к недалекой и жадной до денег актрисе, что легко напросилась в гости на дачу Шаховского. Стоило только посулить, что она хорошо заплатит за знакомство с Дюром, в котором видит большой талант и которого намерена щедрой рукой поддерживать, не обижая и тех, кто станет ей помогать, как Ежова пообещала исполнить все, что ни пожелает тороватая гостья. Спустя три дня Наталья Васильевна получила известие, что ее ждут в гости.

Князь проводил лето в Емельяновке, на Петергофской дороге, недалеко от взморья. Наталья Васильевна примчалась, как ветер, нещадно понукая кучера, который, в свой черед, едва не загнал тройку. Однако порыв Натальи Васильевны мигом был остужен, потому что, кроме Николая Дюра, на даче обнаружился его приятель Петр Каратыгин, отнюдь не унаследовавший той мужественной красоты, которая пленяла в его старшем брате Василии. По мнению Натальи Васильевны, Каратыгин-младший на личность был попросту нехорош, да и болтлив не в меру, шут какой-то гороховый! Ладно хоть незлобив, на том спасибо. В доме присутствовала также актриса Александра Асенкова, бойкая и смазливая особа. При ней была дочь, девочка лет одиннадцати-двенадцати, тоненькая, синеглазая, темноволосая. Самого же князя не оказалось, хотя и должен был прибыть. Да, собственно, Шаховской не особенно был нужен Наталье Васильевне, однако именно его дожидалась Александра Егоровна Асенкова, которая с первой минуты знакомства показалась Наталье Васильевне ужасно суетливой и болтливой, к тому же до противности жеманной. Она разговаривала ненатуральным голосом, то и дело заламывала руки и принималась восклицать: «Ах, что же не едет князь?! Вся моя надежда на него! Мы с дочерью сироты, совершенные сироты, и если его светлость не окажет мне протекции в новом Большом театре, нам придется нищенствовать на паперти!»

Эту затверженную назубок реплику она произнесла столько раз, что все прочие волея-неволей тоже выучили ее наизусть.

Зато дочка ее сидела тихо, глазела себе то на Дюра, то на Каратыгина, однако на Наталью Васильевну не взглянула ни разу. Да и Дюр на великолепную гостью тоже не обращал никакого внимания, хотя Наталья Васильевна по такому случаю была вся в прюнелевых шелках и в невероятных лиловых камнях из уральских каменоломен, каких более ни у кого в Петербурге не имелось. Он все болтал с девчонкой (ее звали Варей, это Наталья Васильевна запомнила, и она училась в Театральной школе) и восторгался тем, какая она красавица. Мол, это уже сейчас видно, хотя ей всего ничего от роду.

– Да ведь актеры все красавицы, – медоточиво возразила Наталья Васильевна, сопроводив эти слова ехидной улыбочкой: мол, знаем мы цену их раскрашенной красоте!

– Ну, не все, с позволения сказать, – подал тут голос Дюр и первый раз соблаговолил взглянуть на Наталью Васильевну, хотя тут же отвел глаза, словно ему не слишком понравилось то, что он видит. – Красота их – красота удачного грима, а отмой как следует – и смотреть не на что будет.

– Да что ты говоришь? – с искренним возмущением воскликнул Каратыгин. – Ты врешь все! Например, Любочка, сестрица твоя, – прехорошенькая!

– Ах, – сладким голосом пропела Наталья Васильевна, – да ведь и они и сами прехорошенькие... – И сопровождала свои слова таким взглядом, что глазам жарко стало.

Однако Дюр на нее вновь даже не посмотрел, а потому ничего не заметил. Только плечами пожал, да и все.

– Да! – с дружеским восхищением воскликнул Каратыгин. – Он у нас и сам красавчик первейший, это правда. Потому старикашка Дидло над ним и измывается.

– Да он все тцится танцора первейшего из меня сделать, а что проку, коли меня влечет драматическое поприще? – пренебрежительно ответил Дюр.

– Да кого ваш Дидло только не мучает? – с видом человека сведущего воскликнула Катерина Ивановна. – Слышала я от князюшки Александра Александровича, француз-то сей тебя, Петруша, так уж гнетет, так гнетет!

– Что и говорить, – с комическим сокрушением простонал Каратыгин, – нет мне от него пощады. Обещал он отцу сделать из меня первейшего фигуранта для балетной сцены. Коли доказательством его прилежания могут служить те щипки, пинки и щелчки, которые я от него получаю, то он честно выполняет свое обещание.

– А помнишь про люстру? – засмеялся Дюр.

Все тоже засмеялись – все, кроме Натальи Васильевны. Видимо, прочие знали, о чем речь идет, а она не знала да и знать не хотела. Впрочем, ее не спрашивали.

– О, это была совершеннейшая феерия! – воскликнул Каратыгин, и, хоть Наталье Васильевне это было ни чуточки не интересно, пришлось надеть маску самого любезного внимания, потому что Каратыгин обращался к ней. И даже Дюр повернул голову. Ну, ради того, чтобы встретиться взглядом с его чудесными темными глазами, можно было и про какую-то там дурацкую люстру послушать! Главное – не упустить его взора... О, Наталья Васильевна в совершенстве владела искусством вести беседу взглядов!

Однако Дюр только один раз посмотрел на нее – и тут же вновь повернулся к Варе. А между тем Каратыгин уже повел свой рассказ, и, хоть Наталье Васильевне все это было до зевоты неинтересно, рта ему заткнуть она никак не могла, так что приходилось делать хорошую мину при плохой игре.

– Однажды во время класса он заставлял меня делать некое па... У нас оно называется тан-леве. Это прыжок вверх на одной ноге без продвижения, его нужно несколько раз повторить. На беду, что-то не клеилось; Дидло выходил из терпения, бранил и трепал меня напропалую, заставлял несколько раз повторять это проклятое тан-леве, но дело никак не ладилось. Грозно стуча своей толстой палкой, он энергично наступал на меня, а я, танцуя, подавался назад, и наконец, когда я находился посередине залы, на потолке которой висела стеклянная люстра, Дидло размахнулся своей палкой – и разбил люстру вдребезги. Толстые куски стекла упали на его лысую голову и до крови ее рассекли. Тут он окончательно взбесился, ударил меня раза два или три и выгнал из класса.

– Какой ужас! – вскричала Наталья Васильевна с преувеличенным испугом, несказанно радуясь, что глупая история закончилась.

Однако Каратыгин не собирался униматься.

– В самом деле, – усмехнулся он. – Легко вообразить себе, какого шума наделала у нас эта катастрофа.

– Конечно, катастрофа, – проворчала Катерина Ивановна. – Что тебя прибил Дидло, разумеется, дело не важное, а как ты смел довести его до того, что он разбил люстру о твою голову? Вот где преступление! Неудивительно, что князь Александр Александрович велел тебе просить у мусье Дидло прощения.

– Я и просил, – кивнул Каратыгин. – Однако все обошлось добрым миром. Когда я подошел к старику и начал со слезами умолять простить меня, он погладил меня по голове и дал только наставление, чтобы впредь я был прилежнее и не становился под люстрой.

– К счастью, старик наш незлопамятен, – подтвердил Дюр.

– Да что вы его все стариком честите?! – возмутилась Катерина Ивановна. – Так ли уж много ему лет? Он всего лишь на какой-то десяток постарше меня и моего Александра Александровича, а нам только по сорок.

Каратыгин и Дюр переглянулись, лишь с видимым усилием скрывая комический ужас, отобразившийся на их лицах. Наталья Васильевна сделала кислую улыбку и пробормотала из чистой вежливости:

– Да какие ж вы старики? Разве это старческий возраст?!

Конечно, она лукавила, в ту пору ей казалось, что это все, смертушка, конец света, только в монастырь уходить... и оставшиеся до рокового срока десять лет она собиралась прожить как можно с большим размахом, получить от жизни как можно больше удовольствия. Забегая вперед, можно сказать, что до поры до времени ей это удавалось.

– Ах, матушка Наталья Васильевна, – уныло изрекла в эту минуту Александра Егоровна Асенкова, и Наталья Васильевна едва сдержала гневный взгляд: какая-де я тебе матушка?! – Да что сорок, для них, юнцов этих, уже и наши тридцать – мы же с вами ровесницы, я не ошибаюсь? – совершенная старость. Мы с вами пред ними – старые старухи, как бы ни чепурились, как бы ни белились и румянились.

И она так чрезмерно-горестно вздохнула, так преувеличенно-страдальчески воздела очи горе, что сразу стало ясно: дамочка набивается на комплимент. Однако Наталья Васильевна придушить готова была эту дуру, эту глупую кокетку. Шумилова сразу заметила, каким быстрым, оценивающим взором смерил ее Дюр... И хоть добряк Каратыгин немедленно клюнул на эту удочку и со всех ног кинулся отвечать комплименты всем присутствующим дамам, уверяя их в несравненной их красоте, молодости и неувядаемости (Наталья Васильевна злобно скрипнула зубами, ибо комплимент сей выдался весьма колок), настроение было безнадежно испорчено, потому что комплиментами своими велеречивый Каратыгин уравнивал уродливую старуху (да-да, старуху!) Катерину Ивановну с хорошенькой Асенковой и красавицей Натальей Васильевной...

Наталья Васильевна почувствовала, что еще миг – и она не совладает с собой, наговорит гадостей. Нужно было выйти, успокоиться, но сделать это под приличным предлогом, чтобы никто не догадался, что она кипит от злости... Она все же надеялась еще, что все у нее с Дюром сладится. Ну как, как было примириться с тем, что тащилась в эту даль напрасно?!

– Je dois sortir⁶, – проговорила она сдавленно, направляясь к двери.

– Извольте, сударыня, – благодушно отозвалась Катерина Ивановна. – Ретирадник⁷ у нас в первом этаже, в сенях оный. Не на улице отхожее место, как в иных домах, а все по-благородному!

Наталья Васильевна рванулась в коридор с такой стремительностью, что едва не застряла в дверях своими широкими юбками. Одна мысль была у нее в ту минуту: как можно скорее, немедленно уехать и выкинуть Дюра из головы, а с Шаховским и дела больше не иметь.

«Как же, увидит он моих денег, держи карман шире!» – мстительно подумала она, хотя князь Александр Александрович никогда у нее ничего не просил и даже не помышлял об этом. Миновав пресловутый ретирадник (никакой охоты до совершения туалета у нее не было), Наталья Васильевна бросилась к дверям, ведущим на улицу, да так и замерла: ударил гром, сверкнула молния, с небес упал проливной дождь.

⁶ Мне надо выйти (фр.).

⁷ Старинный эвфемизм для слова «туалет», от se retirer – ретироваться, отступать (фр.).

Ну вот... и до кареты не добежишь – вмиг промокнешь. А кучер, конечно, где-нибудь в конюшне языком с шаховской прислугой мелет. Пока его сыщешь, нитки сухой не останется. А ветрено как стало, а прохлада вечерняя налегла! Нет, больно надо до хвори себя доводить! Придется вернуться в комнаты. Одно хорошо: в такую погоду у гости есть приличнейшая причина не трогаться с места, остаться ночевать, а там... Как говорится, утро вечера мудренее!

Наталья Васильевна улыбнулась, лелея свои надежды, и повернула обратно. Она еще не успела дойти до двери, как та распахнулась, и в сени выскочила донельзя растревоженная Катерина Ивановна:

– Отцы родные, что за светопреставление содеялось! А князюшки моего ненаглядного нет как нет! Не стражлось ли что? Не сбился ли с дороги? Охти мне, за что, Господи, наказуешь?!

И словно в ответ, в доказательство, что это не чей-то злой умысел, а всего лишь самое обычное явление природы, гроза прекратилась, но все вокруг блестело от дождя, и нависала быстро сгущавшаяся тьма, сулившая, возможно, новую грозу. Ветер, нанесший тучи, не утихал, и слышно было, как сильно, сердито бьют в берег волны близкого залива.

Катерина Ивановна, впрочем, не унималась. Беспокойство за Шаховского совершенно отуманило ее разум: ей втемяшилось, что его могло убить грозой, что волны морские нороят выйти из берегов и захлестнуть дорогу (такое, к слову, случалось, и ездоки, сбившись с пути, заезжали в залив, где ежели не гибли, то терпели немалый страх), и ей не сиделось на месте – надобно было идти встречать, а то и спасать «ненаглядного князюшку». Все попытки отговорить ее оказались тщетны. Катерина Ивановна схватила большой фонарь, висевший в сенях, поставила туда толстенную свечу, накинула на плечи старую епанчу, более напоминавшую обыкновенную дерюжку, сунула ноги в разношенные, убитые опорки, нашедшиеся в углу и поставленные туда, видимо, именно для походов по грязи, и решительно спустилась с крыльца, наказав гостям сидеть и ждать, пока они с «князюшкой» не вернутся. А то и прилечь отдохнуть, если кто устал. Ужин подадут, когда она приведет Александра Александровича.

– Ну что ты с ней будешь делать, – беспомощно развел руками Дюр. – Мыслимо ли ее одну отпустить? Придется пойти с ней.

У Натальи Васильевны упало сердце. Еще не хватало!

– Я сам пойду, – решительно отозвался Каратыгин. – А ты оставайся. У тебя сапоги худые, раз, а второе, ты здоровьем некрепок. Вспомни, как ноги промочил и лежал в горячке! Нельзя тебе идти.

– Нет, я пойду! – заупрямился Дюр, однако тут из дому выскочила Варя и схватила его за руку:

– Николенька, не уходи, я боюсь без тебя оставаться!

– В самом деле, – сварливо сказала Александра Егоровна, – как это вы, господа, вознамерились покинуть женщин одних, без защиты? Страх-то какой! А вдруг лихой человек? Пусть Петруша идет, а вы, Николя, оставайтесь с нами. А то мы все потащимся за Катериной Ивановной! А как вы это себе с горя да перепугу представляете? – И она, приподняв подол, показала свои тонкие кожаные башмачки.

Обреченно вздохнув, Дюр побрел за женщинами в дом.

Уселись в гостиной – кто на порыжелый кожаный диван, кто в столь же дряхлые кресла. Наталья Васильевна поочередно стреляла глазами то в Дюра – приманчиво, то в Александру Егоровну – уничтожающе. Куда бы ее спроводить вместе с ее девчонкой?! Ей приходилось слышать про Месмера и его знаменитый магнетизм⁸, вот сейчас и она, даром, что без магнитов,

⁸ Месмер Франц Антон (1734–1815) – знаменитый австрийский врач. Полагая, что планеты оказывают воздействие на людей посредством магнитных сил, выдвинул представление о «животном магнетизме» как особой естественной силе, «заряжающей» которой от планет и излучая ее на других людей человек способен воздействовать на течение их физиологических процессов и изменение поведения. Разработанное на этой основе учение, получившее название месмеризм (иногда – магне-

магнетизировала Асенкову, внушая той, что у нее слипаются глаза, слипаются, что ей хочется спать...

– Как есть хочется, – простонала Александра Егоровна. – Уж хоть бы князь поскорей воротился. А поесть нечего... Не пойти ли, в самом деле, подремать от нечего делать? Вот и Варенька носом клюет. Пошли-ка, дочка, в соседнюю комнату, приляжем там на диванчик, ведь, как говорится, *qui dorme – mange*⁹.

Варя посопротивлялась было, однако намагнетизированная Александра Егоровна без разговоров увела ее за собой. Несколько ошарашенная успехом, Наталья Васильевна воспрянула духом. Теперь нужно было свои месмерические достижения закрепить – судьба предоставила ей блестящую возможность для этого!

Дюр сидел, забившись в угол дивана. Наталья Васильевна подошла и стала напротив, потом резко, быстро опустилась перед ним на корточки и устремила взгляд в его темные глаза. У юноши было растерянное выражение. Наталья Васильевна бурно вздохнула, и глаза его скользнули вниз, к ее глубокому декольте, утонули в нем.

Он замер, покраснел. Кожа у него была очень нежная, белая, и казалось, что вся кровь прилила к лицу. Он нервно дернулся – и замер.

– Что вы так смотрите, сударыня? – спросил юноша, внезапно охрипнув.

Она потянулась было – схватить его за руку и положить на свою вздымающуюся грудь, однако поняла, что он слишком робок и руку, конечно, отдернет.

– Смотрю и жалею, что вам, при красоте вашей и таланте, приходится с боем пробиваться на сцену, – вкрадчиво проговорила она.

– Да ведь всем же так приходится, – хрипло сказал Дюр, отдергивая глаза от декольте Натальи Васильевны и изо всех сил стараясь туда более не смотреть.

– Ну, не всем, – нежно улыбнулась она. – Вспомните хоть Семеновых, что Екатерину, что Нимфодору.

– Конечно, конечно, – кивнул Дюр, – но я не женщина, и рядом со мной нет князя Гагарина или графа Мусина-Пушкина.

Наталья Васильевна ободренно вздохнула. Итак, он сам перевел разговор на любовников двух знаменитых актрис... Без поддержки этих мужчин, их денег таланты сестер Семеновых, конечно, были бы замечены, но вряд ли расцвели бы таким пышным цветом! Он говорит о том, о чем нужно! Теперь осталось только, как говорят на театре, подать правильную реплику.

– Ну что ж, не у одной лишь талантливой женщины может быть щедрый мужчина, но и для талантливого мужчины может отыскаться щедрая женщина... Которая всегда будет рядом... Которая поможет ему добиваться наилучших ролей и сделаться премьером...

И снова посмотрела ему в глаза с выражением, не понять которого мог только слепой или круглый дурак. Спустя минуту выяснилось, что Дюр не одно, так другое, а может, и то, и другое враз, потому что он отвел взгляд и сдавленным голосом пробормотал:

– Даст Бог, наилучшие роли и премьерство мне обеспечит мой талант, а не что иное.

У Натальи Васильевны затекли колени сидеть на корточках, и она выпрямилась. Ей захотелось выдернуть этого мальчишку из глубины дивана, в которую он трусливо забился и... и... в общем, она сама не знала, ради чего, собственно, собирается его выдергивать: то ли пощечин надавать, то ли стиснуть в объятиях и впиться губами в эти вишневы, манящие губы. В конце концов Наталья Васильевна не сделала ни того, ни другого, к Дюру вовсе не прикоснулась, а просто села рядом с ним и резкими движениями спустила с плеч платье – так, что голые груди выскочили из корсета и нагло устави́ли в лицо юноше напрягшиеся темно-розовые соски.

тизм), способствовало формированию научных представлений о гипнозе.

⁹ Кто спит, тот ест (*фр.*).

– Госпо... Господи, – выдохнул он чуть слышно, подаваясь было к Наталье Васильевне, но тут же отпрянул, отшатнулся, вжался в край дивана, а в глубине его темных глаз мелькнуло странное, до невыносимости странное выражение... и неведомо, что случилось бы потом, но тут за спиной Натальи Васильевны хлопнула дверь, в комнату ворвалась Варя, крича:

– Едут, едут, возвращаются они, коляска во двор въехала!

Полуголая госпожа Шумилова едва успела вскочить обратно в свое декольте, прежде чем появилась зевающая Александра Егоровна, которой, как позже выяснилось, так и не удалось заснуть.

Когда Наталья Васильевна снова поглядела туда, где только что сидел Дюр, его на прежнем месте уже не оказалось: она даже и не заметила, когда он вывернулся из своего угла и побежал встречать прибывших. Тогда поднялась и она. Несколько минут стояла перед облупленным зеркалом (на этой даче Шаховского вся мебель, все вещи были изрядно облупленные, сразу видно, сюда годами свозили всякое старье!), потом, убедившись, что в туалете ее нет ни малейшего изъяна, а глаза обрели спокойное и даже невинное выражение, вышла в сени, и на нее тотчас обрушился несвязный рассказ о том, что произошло.

А произошло, как и должно быть с насельниками мира театрального, нечто трагикомическое.

Оказывается, дрожки князя шажком продвигались вперед по дороге, но лес шумел под ветром, волны рычали, и этот шум помешал Катерине Ивановне и Каратыгину услышать приближающийся топот копыт и стук колес. Дорога в одном месте круто поворачивала, и вдруг из-за поворота лошади Шаховского наткнулись на фонарь в руке Катерины Ивановны. Лошади с перепугу метнулись в сторону, дрожки опрокинулись – и Александр Александрович свалился в придорожную канаву.

– Кой черт пугает тут фонарем?! – закричал он, лежа в сырой земле.

– Это я, милый друг, пошла к тебе навстречу, беспокоючись! – дрожащим от счастья голосом – нашелся князюшка, живой! – воскликнула Катерина Ивановна.

– Кто тебя просил, Катенька, соваться? – простонал Шаховской. – Ты меня чуть не убила своей нежностью!

Кое-как, с грехом пополам, князя вынули из канавы и водрузили опять на дрожки, после чего все путники благополучно воротились домой, и Катерина Ивановна немедленно приказала принести Шаховскому полотенце и шлафрок – обсушиться и переодеться – и велела подавать ужин.

Наталья Васильевна, впрочем, ждать застолья не стала – выскользнула из дому и, отыскав своего кучера – по великому счастью, тот еще не успел напиться с дворней князя, – приказала немедленно везти себя домой. И голос ее, и взгляд были в эту минуту настолько ужасны, что малый и рыпнуться не посмел: как миленький полез на козлы. Прощанием с Шаховским, его Бавкидою и гостями их Наталья Васильевна себя утруждать не стала. Уехала – и более за кулисы не совалась, и вообще в театр, в этот проклятуший вертеп, не езживала, пока не началась ее связь с заядлым театралом Скорским. На своей нелепой страсти к Николаю Дюру она поставила крест. Нетрудно было найти другого... пусть и не балетного фигуранта, но вполне хорошенького лицеиста старшего класса, который мигом понял, чего красивой барыне от него нужно.

Воспоминания о той сцене она долго и тщательно гнала прочь. Постепенно ей удалось внушить себе – возможно, что тут тоже не обошлось без пресловутого месмеризма и магнетизма! – что на Дюра она зла не держит, что ей удалось бы добиться своего, что счастье, как в романе модного стихоплета Пушкина, было так близко, так возможно... и все сладилось бы по ее хотению, кабы не появилась вдруг эта девчонка, Варя, эта Асенкова...

С тех пор фамилия сия сделалась для Натальи Васильевны в некотором роде жупелом, и ей в конце концов совершенно удалось загнать в невозвратимые бездны былого память о том,

как посмотрел на нее Николай Дюр, когда она оголилась перед ним. В этом взгляде читалось отвращение, смешанное с паническим ужасом.

Понятно, что о таком позоре не хотелось вспоминать. Гораздо удобнее было думать, что во всем виновата эта Асенкова!

Так Наталья Васильевна и думала.

* * *

– «Репертуар этого спектакля был незавиден, зато бенефис г. Сосницкого прекрасен в другом отношении. Поспешим сказать что-нибудь о предмете, для которого беремся за перо. Поздравим любителей театра с новым, редким на нашей сцене явлением. Мы хотим сказать, что день, когда девица Асенкова появилась на сцене, может остаться памятником в летописях нашего театра... Неожиданно улыбнулась нам Талия¹⁰: 21 января девица Асенкова вышла на сцену – вышла и как будто сказала: «Во мне вы не ошибетесь!»

Александра Егоровна умиленно всхлипнула.

В дверь постучали.

– Кто, ну кто мог помешать в такую минуту?! – возмущенно возопила она. – Кто?!

– Войдите, прошу! – вскочила Варя, с облегчением переведя дух. С самого утра маменька читала вслух газетные рецензии, и Варя уже порядком подустала слушать безмерные похвалы в свой адрес. То есть сначала, конечно, ей было очень приятно, но потом сделалось немножко не по себе. Как будто лежишь в гробу, а над тобой каноны читают. Или собрались любящие тебя люди и ну рассказывать друг дружке, какая ты была хорошая... необыкновенно хорошая, ну прямо лучше тебя на свет не нарождалось! А ты в гробу лежишь, слушаешь все это и об одном жалеешь – что не можешь вскочить, сдернуть со лба черную ленту и флердоранжевый венок, который непременно цепляют на голову умершим девицам, да закричать во весь голос: «Да что вы всякую чушь городите?!» Именно поэтому Варя и вскочила радостно, и воскликнула:

– Войдите!

Появился привратник. Нет – сначала появились цветы. Их было, как показалось Варе, какое-то невероятное количество! Ах... Оранжевые, баснословно дорогие розы, тюльпаны, гиацинты самых разнообразных оттенков! Охапками! Да какими! Наверное, все теплицы Санкт-Петербурга опустошили ради того, чтобы в узкую дверь квартиры на четвертом этаже вплыли эти благоуханные облака, из-за которых звучал почтительный голос:

– Вам-с, Варвара Николаевна! Вам-с!

– Боже... – сдавленно выкрикнула Александра Егоровна. – Даже Семенов¹¹ столько цветов не дарили! Ох, как жаль, что у нас не водится обычай, как во Франции, бросать букеты на сцену! Тебя вчера среди них просто не было бы видно!

– И это еще не все! – возбужденно вскричал привратник, у которого были совершенно круглые глаза. Савелий Петрович уже изрядное время служил в доме Голлидея, при актерах, всякого навидался, однако и он такое изобилие цветов зрел и обонял впервые. – В привратничкой еще целый сноп! Сейчас принесу. Только дайте какой-никакой фартук или скатерку, чтобы их завернуть, а то я вашими розанами все руки исколол. – И в доказательство он повертел заскорузлыми ладонями, на которых и впрямь кое-где виднелись капельки крови.

Александра Егоровна сунула ему какую-то старую, вытертую плюшевую накидку с кресла, и Савелий Петрович торопливо затопал вниз по лестнице.

¹⁰ Муза балета и комедии в древнегреческой мифологии.

¹¹ Речь идет о знаменитой трагической актрисе начала XIX века Екатерине Семенов; (о ней можно прочесть в новелле Елены Арсеньевой «Русская Мельпомена» (М.: Эксмо, 2009).

Тут набежали сестры, вместе с маменькой принялись разбирать букеты. При некоторых были подписанные от руки карточки, и девчонки с упоением выкрикивали наперебой:

– От какого-то неизвестного дарителя! От поклонника вашего несравненного таланта! От сраженного силой вашего актерского мастерства! От влюбленного в ваш чудный голос! Ой, Варенька, в тебя влюби-и-ились! А вот как красиво написано – «разбившей мое сердце»! Слышишь, Варенька, ты разбила чье-то сердце!

– А что? – гордо отозвалась Александра Егоровна. – И очень просто! Ах, знали бы вы, сколько сердец в свое время разбила я!

Нынешний супруг ее, Павел Николаевич Креницын, служивший содержателем зеленых театральных карет, в которых обыкновенно развозили после спектакля по домам актеров (в одной из таких карет вчера прибыла домой пьяная от восторга и шампанского Варя), хмыкнул. Александра Егоровна знала, что муж не любит таких разговоров, и мигом поправилась:

– Но Варенька дальше пойдет на этом пути, гораздо дальше! Мы эти сердца сотнями будем считать!

– Ах, какой аромат! – воскликнула младшая сестра, Оля. – У меня прямо голова кружится! Какая же ты счастливая, Варенька!

Варя пожала плечами, перебирая карточки. Она была, конечно, обрадована, у нее, конечно, кружилась голова от густого цветочного аромата, но в то же время насмешливая улыбка нет-нет да и касалась губ. Она сразу обратила внимание, что среди карточек нет ни одной визитной. Все эти кусочки разноцветного картона – из тех, что продаются в цветочных лавках, дабы пославший цветы мог приписать несколько слов и отправить вместе с букетом. И выражения восторга, по сути, анонимны. Редко где стоят инициалы, а то все больше безликие NN, SS, Аноним, г-н К. и все такое прочее. Ну что ж... Она заранее знала – с детства к этому привыкла! – что артистки вызывают вожделение и восторг, но не уважение. Связей с ними ищут – но в то же время стыдятся. Стараются, чтобы о поклонении таланту не говорили в обществе громко. И твердо помнят: *quod licet Jovi, pop licet bovi* – что позволено Юпитеру, не позволено быку.

О да, лишь немногие могут открыто выразить свое восхищение талантом, не заботясь о молве.

А разве ей нужны все эти многие? Весь этот ворох цветов, которые через два дня придется выносить на помойку, – ничто в сравнении с самым дорогим подарком, который она получила вчера.

Она подошла к зеркалу. У той, что взволнованно смотрит из затуманенной глубины, Варины синие глаза, темные волосы, тонкие черты и – тяжелые бриллиантовые серьги в ушах. Даже потемневшая амальгама старого зеркала не в силах приглушить их блеск.

Варя вскинула руки и коснулась серег. Они качнулись, снопы искр вспыхнули там, в зеркале.

Она зажмурилась.

– Ну давайте же снова читать! – сказала Александра Егоровна. – Девочки, погодите, тут вазами не обойдешься, ведра нужны. Подождем, Савелий Петрович сказал, что еще принесет цветов. Потом все расставим сразу. Главное, розы вместе с тюльпанами не совать, они друг дружку не любят. Слушайте, я дочитаю рецензию. – И она своим хорошо поставленным голосом – не зря двадцать лет прослужила на сцене Большого Императорского театра! – с выражением продолжила: – «Красота безотчетливая нас сильно поразить бы не могла, но такая пластически прекрасная наружность поистине встречается очень редко. В отношении к ее таланту скажем: есть предметы, которые с первого на них взгляда поселяют в себе уверенность. Это мы говорим к тому, что она не могла изобличить всех своих способностей по причине бедности ролей, ею представленных. Они не могли дать пищи таланту, но при всем том она их разыграла превосходно, сделав их занимательными... Но что более всего заставляет брать в ней участие

и говорить об ее достоинстве, это то эгоистическое чувство, которое она пробудила и оставила в нас, непринужденность, счастливое изменение голоса и лица, благородство, приемы, свойственные женщинам высшего круга, обещают нам в ней комическую актрису в строгом значении слова... позволим себе небольшое замечание: орга́н¹² девицы Асенковой звучен и приятен, но грудь ее, вероятно, по молодости, еще слаба. Желательно, чтобы она поберегла себя».

– Чудо, просто чудо, Варенька! – упоенно воскликнула Александра Егоровна, выныривая из-за развернутых газетных полос. – И это написала «Северная пчела», которая всех вечно жалит!

Варя так и не отошла от зеркала, словно не слышала. Она смотрела, словно загипнотизированная, на игру бриллиантовых искр. В таком вот блаженном, восторженном состоянии она пребывала со вчерашнего вечера, с той самой минуты, как заведующий репертуаром труппы Зотов заглянул к ней в уборную и, еле управляясь с голосом, попросил выйти. Варя не успела даже грим смыть – только сняла чалму, поэтому вышла тотчас, размышляя, с чего это Зотов до такой степени разволновался. И даже покачнулась – так и ударило по глазам солнечным светом.

– Варенька, скорее, скорее! – махал руками Зотов. – Его императорское величество... Такая честь...

– Э, да ты по-домашнему с дебютантками! – усмехнулся высокий гость, похлопывая Зотова по плечу.

Император Николай Павлович держался дружески: ведь он частенько бывал за кулисами. Ему нравилось смущать взглядами молоденьких актрисочек, и, как только появлялась хорошенькая, ему об этом непременно докладывали. Впрочем, он и без того любил театр и нынче прибыл в Александринку прежде всего ради добрейшего Ивана Ивановича Сосницкого. Однако дебютантка оказалась премиленькой. И такая непосредственность чувства, какой Николай Павлович уже сто лет при дворе не видал! Таращится на него, словно восхищенное дитя. А он будто солнышко красное, которое вдруг появилось между тучами. Ей-ей, вот только не жмурится, дабы не ослепнуть!

– Я ее знал с пеленок, ваше величество, – забормотал Зотов. – Варя, да ты кланяйся, кланяйся!

Спохватившись, она нырнула в самый глубокий из всех мыслимых реверансов, однако император приподнял за подбородок ее склоненную голову:

– Вы доставили мне сегодня истинное удовольствие, какого я давно не испытывал. Хочу поблагодарить вас за это.

Ей чудилось, он не говорит, а поет, так величаво-мелодично звучал его голос. У людей таких голосов и быть-то не может. Только у небожителей!

– Ну что вы, ваше величество, – выдохнула Варенька, почти не понимая, что говорит. – Я просто старалась. Я так счастлива вашей похвалой...

– Надеюсь еще не раз наслаждаться вашей игрой, – проговорил Николай Павлович и пошел со сцены, оставив Варю в состоянии восторженного оцепенения. А спустя час после окончания спектакля в дирекции Императорских театров появился посыльный из Зимнего дворца и вручил бархатный футляр и письмо следующего содержания:

25 января 1835 г.

№ 434

Министр Императорского Двора, препровождая при сем к г-ну директору Императорских Санкт-Петербургских театров серьги бриллиантовые для подарка, Всемилостивейше пожалованного Российской

¹² В описываемое время так порой называли голос.

Актрисе девице Варваре Асенковой, просит серьги сии доставить по принадлежности немедленно и о получении оных уведомить.

Ей вручили эти серьги посреди банкета, и за столами, где только что кричали, хохотали, пели, пили, ели, воцарилась оцепенелая тишина.

Варя, конечно, бросилась примерять серьги и не слышала короткого обмена репликами, который произошел за столом.

– Так-с... – с невероятным усилием прорвавшись сквозь онемение, выдавила Люба Самойлова, старшая сестра и помощница молоденькой актрисы Наденьки Самойловой, которой прочили большую будущность в водевильных ролях. Прочили до нынешнего вечера, до дебюта Асенковой, а нынче о ней словно и позабыли все, словно ее и на свете не было никогда, словно она на сцену никогда не выходила и более не выйдет! – Так-с... понятненько...

– Что ж это вам, Любовь Васильевна, понятненько? – неприязненно осведомился сидевший рядом красавец Николай Дюр, звезда Александринки на ампула первых любовников и героев, предмет тайного поклонения всех петербургских театралок, от мещаночек до аристократок. Предметами обожания театралок были двое – Николай Дюр и Василий Каратыгин. Дамы, предпочитавшие романтизм и изысканность, все как одна влюблялись в Дюра. Те же, кому больше нравились мужественность и отвага, сходили с ума по Каратыгину.

– Да уж известно что... – кривя тонкие губы, хмыкнула Любовь Васильевна, которая, в отличие от сестры, была ужасно нехороша собой, однако столь же ехидна и злоязычна (это было фамильное качество Самойловых). – С брильянтиками-то девица наша далеко пойдет!

Последние слова она произнесла самым многозначительным и самым гнусным на свете тоном.

– Осмелюсь вам доложить, – любезно сообщил сосед Дюра, Петр Каратыгин, теперь довольно известный актер и начинающий – весьма успешно! – водевилист, – что и я после премьеры своих «Знакомых незнакомцев» получил от государя прекрасный бриллиантовый перстень и тысячу двести рублей ассигнациями. Перстень могу показать! – Он сунул под нос Любви Васильевне левую руку, на среднем пальце которой и впрямь блеснул изрядных размеров алмаз. – Насчет денег же придется поверить мне на слово, ибо уже-с потрачены-с. И что, по-вашему, сей монарший дар тоже означал, что я далеко пошел? С брильянтиками-то? – И он так похоже передразнил Любовь Васильевну, что даже Дюр, возмущенный и оскорбленный за Варю, не удержался и прыснул.

Самойлова даже и ухом не повела и словом Каратыгина не удостоила, так что неприятный разговор сам собой прекратился и Варе остался неведом. Тем паче что, увидев императорский подарок, она ничего более вокруг себя не замечала, не слышала, не видела... Словно ослепла от слишком яркого солнечного света.

И вот она зачарованно следила за самоцветным сверканьем бриллиантов и думала о солнце. Что ей до всех в мире букетов, рецензий, что ей до трусливых «анонимов», побоявшихся назваться подлинными именами... Что ей до всего мира, если солнце смотрело на нее и улыбалось ей!

Дверь шумно распахнулась, и ввалился Савелий Петрович с еще большею охапкой цветов.

– Все! – радостно сообщил он. – Больше нету. Еле допер! Пахнет-то как! Словно в раю побывал, тамошних благоуханий приобщился! – Он смешно повел носом, как вдруг физиономия его просительно сморщилась: – Варенька, Варвара Николаевна... отжалей какой-нито самый плохонький букетик, чтоб моя старуха на исходе лет такой красоте порадовалась? А?

– Конечно, конечно, берите что хотите, – рассеянно сказала Варя, отходя от зеркала, и рука привратника потянулась к изрядному пучку сладко пахнущих розовых гиацинтов, которые этой зимой в оранжереях – об этом даже в газетах писали! – уродились плохо и потому шли чуть ли не на вес золота.

– Ничего себе, плохонький букетик! – чуть слышно простонала сестра Оля.

– Что это? – строптиво сказала Александра Егоровна. – Гиацинты? Куда вам гиацинты?! Да у Василисы Ивановны голова от них разболится! Вот эти возьмите... синенькие. – Переворотив ворох цветов, она небрежно сунула привратнику букет синих колокольчиков, совершенно потерявшийся среди прочего цветочного великолепия.

– И на том спасибо, – разочарованно пробубнил Савелий Петрович, неохотно принимая скромный букет.

Варя рванулась было к нему:

– Погодите!

И остановилась, растерянно глядя на синие цветы.

«...когда-нибудь ты станешь знаменитой актрисой, и я пришлю тебе на премьеру... синие колокольчики.

– Отчего же колокольчики? Знаменитым актрисам все больше розы шлют. Я розы люблю.

– Розы тебе другие пришлют. А я – синие колокольчики. Это мои самые любимые цветы. Самые любимые! И они совершенно такого цвета, как твои глаза.

– А вдруг моя премьера будет среди зимы? Где же вы возьмете синие колокольчики?

– А это моя забота. Говорю тебе, колокольчики будут! Ты увидишь их и вспомнишь, как мы с тобой говорили во дворе Театральной школы. И сразу поймешь, кто их тебе прислал. Понимаешь?»

Еще вчера... еще только вчера Варя при виде этих колокольчиков ощутила бы себя счастливейшей женщиной на свете. А нынче... А нынче странный холодок сковал ее сердце. И она отдернула руку, которая потянулась было к колокольчикам:

– Нет, берите их, берите. Я только хотела взглянуть, нет ли там карточки.

Впрочем, она лукавила. Карточки не было и быть не могло. Да и зачем? Он и так не сомневался, что Варя узнает его цветы. Да, она узнала... Ну и что? Ну и ничего!

– И эти синие берите. И гиацинты. Да-да! – Она сунула Савелию Петровичу дурманно пахнущие цветы. – Только будьте осторожны, на ночь их на кухне или в прихожей поставьте, не там, где спите, а то голова разболится. От гиацинтов и угореть можно чуть ли не до смерти!

– Ничего-с! – обрадованно воскликнул привратник. – У нас со старухой головы крепкие! Никакими хигацинами нас не проймешь! Храни тебя Бог, Варенька, добрая ты душа! – И он вышел из квартиры, благоухая, как цветущая клумба в Летнем саду.

Мать и сестры переглянулись. Им было жаль гиацинтов. Хотя, с другой стороны, если от них угореть можно...

– Надо бы Самойловым гиацинты отнести, – съехидничала Александра Егоровна, и все засмеялись, даже суровый супруг ее, Павел Николаевич.

Варя же, мельком улыбнувшись, подошла к окну.

Внизу, у подъезда, толпилось немало народу – смотрели на ее окна. Люди мелькали тут с самого утра, она уже приучилась подходить сбоку, осторожненько, чтоб не было заметно с улицы. Стоило мелькнуть в окне ее силуэту, как начинался восторженный крик. Конечно, Варя понимала, что нужно быть вежливой с поклонниками, однако без привычки ей было неловко.

Но сейчас она таилась за шторами по другой причине – не от застенчивости. Вытянув неудобно шею, она оглядывала фланирующих внизу людей. Мужчины, мужчины... сколько мужчин! Студенты, гусары, кавалергарды, какой-то грузин верхом, в огромной бурке...

А вот и он!

Стройный, ладный, невысокий кавалергард тронул коня и зарысил прочь, как будто ожидал именно того мгновения, когда Варя подойдет к окну.

Хотя нет, он не мог ее видеть... Просто надоело мерзнуть. Надоело ждать ее появления, может быть, записки с благодарностью за цветы.

Варя пожала плечами. Ну что ж, надоело – значит, надоело. А за цветы она никого не благодарила, не только его. Не принято ответы на анонимные карточки писать, а он так и вовсе ничего к своим цветам не приложил.

Никакой досады Варя не ощущала. Напротив, на душе стало легче, когда этот невысокий, ладный кавалергард на сером в яблоках коне исчез.

Она отошла от окна, еще раз глянула в зеркало, зажмурилась на миг от сверкания бриллиантов...

Солнце! Снова солнце ударило по глазам!

– А давайте-ка цветы расставлять! – сказала Варя весело. – Только надо к соседям за вазами сбегать, не хочу я, чтоб такая красота в ведрах стояла.

– Ну, если брать вазы у соседей, надо же чем-то отдаривать, – озабоченно сказала практичная Александра Егоровна.

– Вот гиацинтами и отдаривайте! – засмеялась Варя.

* * *

Так вот – про того сбитенщика, про ту давнюю историю, с которой-то все и началось...

Варя, значит, думала, что он убежал. Она всю ночь про него думала, сама не понимая почему. Вспоминались его голос, улыбка...

«И что он только нашел в Ирисовой? – думала она грустно. – Ну что, что она хорошенькая! Так говорят. А по-моему, на куклу похожа. И фамилия ведь ее вовсе не Ирисова, а Дашкина, в классах ее именно так называют, а перед кавалерами она выставляется: Ирисова, мол... А на самом деле Дашкина... Дашкина, Кошкина, Блошкина, Мошкина... А ему все равно, какая у нее фамилия, наверное, сильно нравится ему Дашкина, если он так рисковал, в школу пробираясь. Придет ли еще? Хорошо бы, пришел. Конечно, за всеми сбитенщиками теперь такой досмотр будет, что за бороды дергать станут – не приклеенная ли, а все же... пусть бы еще пришел. Без шоколаду, без булок – только бы пришел!»

С этой мыслью она уснула, а проснулась от крика: «Смотрите, наводнение!»

Варя спросонок кинулась к окну, куда уже собрались ее соседки по дортюару¹³.

От сильных порывов ветра дрожали рамы, и видно было, что вода в Екатерининском канале необыкновенно возвысилась: барки с дровами уже почти вылезли на площадь, из подземных труб били на улицу фонтаны, грозя затопить двор училища.

Неужели повторится ужасное наводнение 24-го года?!

Во время завтрака стало известно, что уроков нынче не будет: учителя в классы не пришли – видимо, не смогли пробраться по воде. Поели кое-как – и к окнам. Вода постепенно перелилась через парапет канала и затопила не только улицу, но и двор училища. Видно было, что она хлынула в подвал, где хранились съестные припасы, и некоторые из воспитанников побежали их спасать.

Вовремя подняли суету, вовремя и перенесли наверх пожитки домового священника, отца Петра, жившего в подвальном помещении: вода все прибывала.

Когда она наконец остановилась, у всех отлегло от сердца: до настоящего наводнения не дойдет. А между тем спадать вода пока не собиралась. Двор, заставленный высокими, чуть не до второго этажа, поленницами дров, напоминал широкое озеро. Некоторые поленницы размыло, и поленья плавали там и сям, вставая на дыбы и нелезя одно на другое.

– Смотрите, смотрите! – закричали несколько голосов, и Варя увидела, что в противоположном окне первого этажа растворились створки и кто-то, неразличимый отсюда, высунул на

¹³ От *dortoir* – общая спальня (фр.).

улицу небольшое корыто и бросил его. Вода была почти вровень, так что корыто летело совсем недолго. Плонулось в воду, закачалось – и оттуда раздалось душераздирающее мяуканье.

Боже мой! Да в корыте сидела кошка – беленькая, хорошенькая, с голубым бантом на шее. Варя видела ее в коридорах: некоторым воспитанницам разрешено было держать кошек, только бы животные не гадили в закоулках. Эта кошечка была на диво чистенькая, а принадлежала она Дашкиной, то есть Ирисовой.

– Да что это Ирисова – с ума сошла, что ли? – воскликнула Надя Самойлова. – Решила кошечку утопить?

– Да Бог с тобой! – зашумели вокруг. – Мыслимо ли такое зверство?

– Я видела, это Ирисова высунула в окно корыто! – настаивала Надя.

И в ту же минуту все увидели Ирисову – однако не в первом, а во втором этаже. Она высывалась в окно и простирала руки к корытцу, которое кружилось между поленьями. Кошка душераздирающе мяукала и то пыталась выпрыгнуть на ближнее полено, то, почувствовав, как опасно наклоняется корытце, опять сжималась в комок.

– Спасите, спасите! – закричала Ирисова с таким отчаянием, словно была вне себя от горя. – Спасите мою бедную кошечку! Клянусь, я сделаю все, что только пожелает спаситель моей Белянки! Я... поцелую его, я... – Она громко зарыдала, и, бог весть почему, Варе почудилось, что горя в ее крике слишком много. Ирисова как будто не испытывала отчаяния, а изображала его на уроке декламации в классе князя Шаховского.

И вдруг... Вдруг из соседнего окна вылез какой-то человек в простой куртке и плисовых шароварах, заправленных в сапоги, и смело ступил с подоконника на поленицу, бывшую лишь немногим ниже окна.

Все так и ахнули такой смелости. «Кто он, кто?» – спрашивали наперебой. А Варя внезапно почудилось в нем что-то знакомое...

Молодой, светловолосый, тонкий, с дерзкими чертами лица и зелеными глазами...

И она испуганно стиснула руки: «Да ведь это он! Тот самый сбитенщик!»

Удивительное дело: у него не было черной бороды, нелепого картуза с огромным козырьком, из-за которого она не могла разглядеть его лица там, в школьном фойе, а между тем Варя не сомневалась, что это он. Как будто кто-то шепнул ей на ухо особенный секрет, по которому его можно узнать!

Значит, он провел ночь в школе... и теперь пытается спасти кошку Ирисовой... Ах, неужто у них в самом деле амур, как говорила старшая воспитанница?!

Сердце сжималось от неведомого прежде чувства... Варя еще не знала, что это ревность, которая пришла к ней прежде любви... И в то же время ее мучила тревога за храбреца, который спустился с поленицы во двор и теперь осторожно двигался то по поясу, то по плечи в воде, пытаясь добраться до корытца с кошкой.

В распахнутые натиском воды ворота всплыла маленькая лодка, в которой сидел какой-то испуганный человек в мокрой ливрейной одежде, по виду – лакей из богатого дома. Придерживая лодку одним веслом, он выпрямился, вглядываясь в смельчака, бредущего среди дров, и вдруг закричал тонким, пронзительным, испуганным голосом:

– Барин! Да что ж вы делаете, барин! Да вы ж до смерти застудитесь!

Молодой человек от неожиданности вздрогнул, поскользнулся, и вдруг... в это самое мгновение одна из подмытых полениц поехала вся, все дрова обвалились. Юноша канул среди наплывших дров, исчез и не показывался...

Варя закричала так, что ей показалось, будто вся жизнь ушла из нее с этим криком, и грянулась без чувств.

Она не помнила, долго ли пробыла без памяти, очнувшись же, полулежа на стуле, от того, что чей-то голос настойчиво твердил:

– Да погоди ты, Захар, я же должен убедиться, что с ней все хорошо!

Варя разомкнула ресницы – и сразу увидела над собой зеленые глаза, полные такой тревоги, что она испугалась и прошептала:

– Что случилось?

– Ничего, – улыбнулся он. – Теперь все хорошо. И кошку я спас, и ты очнулась. Уж не волнуйся больше так и не кричи, а то горло сорвешь – как на сцене играть станешь? А я очень хочу прийти на твой спектакль, послушать тебя.

– Меня? – Варя не верила своим ушам.

– Конечно. Ведь когда-нибудь ты станешь знаменитой актрисой, и я пришлю тебе на премьеру... – Он подумал, потом глянул ей в глаза и улыбнулся: – Пришлю тебе синие колокольчики.

– Отчего же колокольчики? – изумилась Варя. – Знаменитым актрисам все больше розы шлют. Я розы люблю.

– Розы тебе другие пришлют. А я – синие колокольчики. Это мои самые любимые цветы. Самые любимые! И они совершенно такого цвета, как твои глаза.

– А вдруг моя премьера будет среди зимы? – пролепетала Варя. – Где же вы возьмете синие колокольчики?

– А это моя забота. Говорю тебе, колокольчики будут! Ты увидишь их – и вспомнишь, как мы с тобой говорили во дворе Театральной школы. И сразу поймешь, кто их тебе прислал. Понимаешь?

Она совершенно ничего не понимала, но все же кивнула.

– Загубите вы себя, барин, Григорий Александрович! – простонал стоявший рядом человек в насквозь мокрой ливрее. Варя его узнала – это он приплыл в школьный двор на лодке. Варя заметила, что и тот, кого он называл Григорием Александровичем, ну этот, зеленоглазый, тоже насквозь вымок и весь дрожит. – И меня заодно загубите, да меня-то ладно, наше дело дворовое, нам не привыкать, а вам-то здоровье беречь нужно.

– Да уж теперь все хорошо, Захар, я ж говорю, можно спокойно домой возвращаться, – улыбнулся зеленоглазый.

– Спокойно! – ехидно пробурчал Захар. – Да с вас дома батюшка голову снимет! Сколько раз говорено вам было... Теперь ждите скандала, как бы не выгнал вон!

– Молчать! – сухо приказал Григорий Александрович. – Я все равно уйду в кавалергарды, и куда мы еще не дома. Станешь ворчать – утоплю в канале, вот как бог свят.

– Эх, барин! – махнул рукой Захар. – Эких вы страстей вечно на себя наговариваете. Кошку спасли, жизни не жалели, а меня, человека своего, утопите?! Эх-эх!!! Ни в жисть не поверю. Однако пошли уж, Христом Богом молю.

– Ну пошли, – согласился Григорий Александрович и, улыбнувшись Варе на прощание, вышел вон.

После того события прошло несколько дней. Вода со двора ушла, однако он долго был в развозженной грязи, и дрова все промокли – когда ими топили, из печек валил ужасный дым, от которого у Вари все время болела голова.

Как-то раз к Варе подошла Надя Самойлова и с таинственным видом сказала:

– Помнишь, я говорила, что кошку в корыто посадила сама Ирисова, а вы мне не верили?

– Ну?

– Вот тебе и ну! – усмехнулась Надя. – Так оно и было. Мне подружка Ирисовой, Гиацинтова, рассказала. Оказывается, они, ну, Ирисова с этим господином молодым, которого зовут Григорий Александрович, его фамилия Скорский, прятались от князя Шаховского на чердаке, и он от Ирисовой хотел... ну, ты небось сама знаешь, чего мужчины хотят от женщин.

Варя не слишком хорошо знала, чего именно они хотят: наверное, поцелуев, пожиманий ручек... Ах, нет, было еще что-то, называемое словом «неприличное», но значение этого слова

оставалось для нее тайной. Впрочем, на всякий случай она робко кивнула, не понимая, почему вдруг так заболело сердце.

– Но господин Скорский ничего не добился от Ирисовой и собрался утром уходить. А она сказала, что придумает для него испытание. И если он его выдержит, то Ирисова-де его поцелует и еще и по-другому вознаградит. А тут вода пошла... Вот она и выкинула в окошко Беляночку и начала орать: мол, спасите мою кошку, я все для спасителя сделаю! Помнишь?

– Помню, – печально сказала Варя. – Значит, это было испытание?! Какое ужасное! Он ведь мог погибнуть! И что... что же она для него сделала?

– Да ничего, – передернула плечами Надя. – Потому что этот господин Скорский больше не появился, только записку прислал. А в той записке знаешь что было?

Варя угрюмо пожала плечами. Откуда ей знать? Да и не хочется ей слушать про нежности, которые зеленоглазый Григорий Александрович мог расточать Ирисовой!

– В ней была баллада Шиллера «Перчатка»! Помнишь, нам ее задавали на уроке декламации две недели назад?

– «Перчатка»? Переведенная господином Жуковским?!

– Кем же еще! – торжествующе воскликнула Надя и начала читать, сопровождая слова выразительными жестами и четко чеканя слова, как требовал от своих питомцев князь Шаховской:

Перед своим зверинцем,
С баронами, с наследным принцем,
Король Франциск сидел;
С высокого балкона он глядел
На поприще, сраженья ожидая;
За королем, обворожая
Цветущей прелестию взгляд,
Придворных дам являлся пышный ряд.

Она лукаво улыбнулась: мол, помнишь дальше? Варя кивнула и продолжила:

Король дал знак рукою —
Со стуком растворилась дверь:
И грозный зверь
С огромной головою,
Косматый лев
Выходит;
Кругом глаза угрюмо водит;
И вот, все оглядев,
Наморщил лоб с осанкой горделивой,
Пошевелил густою гривой,
И потянулся, и зевнул,
И лег. Король опять рукой махнул —
Затвор железной двери грянул,
И смелый тигр из-за решетки прятнул;
Но видит льва, робеет и ревет,
Себя хвостом по ребрам бьет,
И крадется, косясь взглядом,
И лижет морду языком,
И, обошедши льва кругом,

Рычит и с ним ложится рядом.
И в третий раз король махнул рукой —
Два барса дружною четой
В один прыжок над тигром очутились;
Но он удар им тяжелой лапой дал,
А лев с рыканьем встал...
Они смирились,
Оскалив зубы, отошли,
И зарычали, и легли.

Она остановилась перевести дух. Надя немедленно подхватила:

И гости ждут, чтоб битва началась...
Вдруг женская с балкона сорвалась
Перчатка... все глядят за ней...
Она упала меж зверей.
Тогда на рыцаря Делоржа с лицемерной
И колкою улыбкою глядит
Его красавица и говорит:
«Когда меня, мой рыцарь верный,
Ты любишь так, как говоришь,
Ты мне перчатку возвратишь».

Она готова была читать дальше, но Варя взволнованно перебила:

Делорж, не отвечав ни слова,
К зверям идет,
Перчатку смело он берет
И возвращается к собранью снова.
У рыцарей и дам при дерзости такой
От страха сердце помутилось;
А витязь молодой,
Как будто ничего с ним не случилось,
Спокойно всходит на балкон;
Рукоплесканьем встречен он;
Его приветствуют красавицыны взгляды...
Но, холодно приняв привет ее очей,
В лицо перчатку ей
Он бросил и сказал:
«Не требую награды».

– Вот именно, – злорадно хихикнула Надя. – Он понял, что Ирисова очень жестоко-сердна, и расстался с ней.

– Значит, он в нее не влюблен? – пробормотала Варя.

– Больше нет, – со знанием дела сообщила Надя.

Варя опустила голову, скрывая счастливую улыбку.

«...когда-нибудь ты станешь знаменитой актрисой, и я пришлю тебе на премьеру... синие колокольчики...»

* * *

– Что-то ты скучна сегодня, Мэри, – сказала Александра Федоровна, поднося к губам чашку и исподтишка оглядывая дочь.

В новом платье из бледно-голубого шелка великая княжна Мария Николаевна выглядела восхитительно. Принято считать, что брюнеткам голубое не к лицу, но Мэри этот цвет шел удивительно. Все из-за этих голубых глаз, так похожих на глаза отца. А фарфоровая, нежная бледность, а точеные черты? Мэри – живой портрет отца, только смягченный и женственный, оттого и любит Никс ее, пожалуй, больше других детей... Хотя разве это возможно – любить какого-то одного ребенка больше, а другого меньше? Александра Федоровна вспомнила, как, беременная Александром, своим старшим сыном, она с испугом думала: вот-де родит много детей (у ее свекрови, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, их было десять!) и будет любить кого-то больше, кого-то меньше. Дети же будут чувствовать это и страдать от несправедливости!

Сейчас смешно вспомнить, какая она была наивная в ту пору. Наивная, испуганная, слабая... Однажды – это было первой вестью, которую подал о себе Александр, – даже в обморок упала. В церкви. Потом рассказали: когда ее унесли, на полу остались лепестки роз из ее букета. Придворные дамы сочли это чрезвычайно трогательным. А уж как волновался Никс!

Он всегда волновался за нее. Даже в тот страшный декабрьский день, на Сенатской площади, он находил время бояться за свою маленькую птичку. Ну что ж, бояться было чего: они не знали, доживут ли до вечера или будут вместе с детьми заколоты в дворцовых закоулках озверевшей солдатней или даже самими господами офицерами, которые принесли из Франции неизлечимую революционную заразу.

С того дня Александре Федоровне следовало бы разучиться волноваться вообще. Но нет, она то и дело трепещет, нервничает, теряет самообладание... У нее трясется голова, и стоит огромных усилий сдерживать этот нервный тик. Иногда нервничает из-за мужа, иногда из-за детей. Странно... Неприятности, связанные с детьми, она переносила легче, чем те припадки ревности, которыми иной раз страдала из-за Николая. Ах, почему мужчины не могут быть как женщины – довольны и счастливы лишь нежными, духовными, платоническими отношениями! Им нужно тело, тело, тело... Им всем! Николаю... Секрету...

Александра Федоровна прикусила губу, отгоняя неприятные мысли. Сейчас Никс с ней. Он всегда с ней, ну, почти всегда. Секрет... Ничего, послезавтра бал, они будут танцевать, и снова между ними все опять станет, как прежде, когда только музыка, вальс и они двое... Это лучшие мгновения ее жизни, право, лучшие!

Музыка, вальс – и они двое.

Она забыла, что держит чашку, забыла о чае...

– Почему ты не отвечаешь, Мэри? – словно издалека, из другого мира донесся голос мужа, и Александра Федоровна виновато улыбнулась своим мечтам, прощаясь с ними. – Матушка спросила тебя, отчего ты скучна?

– Отчего, отчего... – послышался капризный, недовольный голосок дочери. – Папа, скажите, отчего меня все зовут Мэри? Говорим мы дома между собой по-немецки, пишем письма по-французски – отчего же этот англицизм?

– Что за дамская манера отвечать на вопрос вопросом, да еще таким нелепым?! – пожал плечами Николай Павлович. – В чем дело, Мэри?

– Ну... – Мэри опустила голову. – Дело в том, что я очень хочу поехать в театр.

– Моя дорогая! – воскликнул император изумленно. – Так кто же тебя не пускает?! Поезжай, конечно, я бы и сам поехал, но дела...

– Я хочу в Большой театр, – пробурчала Мэри. – Там новый водевиль с Асенковой, мне так хочется посмотреть, но я же не поеду одна, я поеду с Максимилианом, а мне не нравится, что Максимилиан смотрит на эту особу с таким восхищением! Мне кажется, он сравнивает меня с ней! У нее такая талия, что ни у кого из нас нет, и при дворе нет, никому такой талии и не снилось, а ее ноги! Они способны свести с ума любого мужчину!

– Любого? – спокойно спросил отец.

– Любого!

– В том числе и меня? – В голосе Николая Павловича зазвучала усмешка. – Однако я себя вовсе не чувствую сумасшедшим.

Мэри вскинула на него глаза и тотчас опустила. О некоторых... шалостях, скажем так, своего отца она была осведомлена больше, чем ему казалось, и, во всяком случае, больше, чем мать. Отец был образцом мужской красоты, мужественности, благородства. Он был лучшим человеком из всех, кого знала Мэри. Но если лучший из людей допускает для себя *adultere*, что же ждать от других, не столь совершенных?! Мэри была влюблена в Максимилиана Лейхтербергского – ах, ну как было не влюбиться в человека, который вполне унаследовал очарование своего отца, Евгения Богарне, сына знаменитой Жозефины и пасынка Наполеона Бонапарта! Однако, помня о шалостях своего отца, она заранее ждала от будущего супруга подвоха. При мысли о том, что ей тоже могут быть запрещены супружеские отношения, как матери, и Максимилиан в поисках утешения неиссякаемому мужскому сластолюбию станет искать плотских забав на стороне... в том числе, очень может быть, у актрис (а что, был же у Наполеона роман со знаменитой актрисой мадемуазель Жорж!), Мэри даже больше не хотела выйти замуж вообще. Впрочем, она не любила горевать и немедленно начинала себе внушать, что с кем, с кем, а с ней ничего подобного произойти не может. Она настолько хороша собой, очаровательна, умна, а главное, обладает таким отменным здоровьем, что не утратит любви супруга, а главное – не опустится до такого низменного чувства, как ревность.

И вот... Не только до утраты любви супруга, но и до самого супружества еще дело не дошло, а ревность, это неистовое чудовище с зелеными глазами, уже тут как тут!

– О нет, Ники, ты не похож на сумасшедшего, – заговорила в это мгновение Александра Федоровна, и Мэри встрепенулась: голос матери звучал непривычно сурово. – Однако я озадачена, а в своем ли уме наша дочь?

Мэри вскинула на нее изумленные глаза и даже рот приоткрыла: что?! Ее мама – воплощенная нежность, она не способна даже на подобие грубости, и вдруг такое?!

– Недостойно тебя даже думать так, не то что выражать эти мысли вслух, – продолжала Александра Федоровна с тем же холодом в голосе. – Ты не какая-то мещанка или купчиха, ты – великая княжна. И ты унижаешь прежде всего себя, допуская, что твой муж может предпочесть тебе другую, тем паче – актрису, тем паче – *l'enfant ille'gitime*¹⁴.

– А она... *l'enfant ille'gitime*?! – с запинкой повторила Мэри, отчаянно краснея.

– *La b'tard*?¹⁵ – вскинул брови Николай Павлович. – Откуда ты знаешь, Александрина?

Мэри тоже очень хотела задать такой вопрос, но постеснялась.

– Кто-то говорил в театре, не помню кто, – небрежно ответила Александра Федоровна, поворачиваясь, чтобы оправить волан на плече сзади, и радуясь, что голос ее остался ровным.

Разумеется, лгать нехорошо, но не признаешься же мужу и дочери, что она поручила своей confidentке Софии Бобринской узнать все, что возможно об этой Асенковой, когда увидела, как смотрит на нее Секрет. Ну да, да, да, она поступила так из той же самой униженной ревности, за которую только что сурово выговорила бедной Мэри... Она сама подда-

¹⁴ Внебрачный ребенок (*фр.*).

¹⁵ Незаконнорожденная (*фр.*).

лась слабости, повела себя дурно... Ах, но один раз простительно: невозможно же все время быть образцом добродетели и всех прочих воздушных, духовных, возвышенных достоинств!

Разумеется, и эту крамольную мысль она выскажет только себе...

– К счастью, на таланте мадемуазель Асенковой ее происхождение не отразилось, играет она и в самом деле великолепно, – промолвил Николай Павлович. – А впрочем, наша милая мама, как всегда, права: ревность к дамам такого сорта может только унижить великую княжну, да и вообще женщину.

– О, я все понимаю, – обиженно проворчала Мэри. – Но как быть с некоторыми историческими details¹⁶?

– С какими еще details? – вскинул брови отец, предчувствуя некий подвох.

– Ну, я имею в виду всяких belles fleuristes¹⁷, которые, судя по легендам, вечно увиваются вокруг разных королей и герцогов и действуют на нервы их женам, – сумрачно проговорила Мэри. – Они ведь жили не только во времена Генриха IV. Я вовсе не про Габриэль д'Эстре! Если вспомнить хотя бы нашу семью... Екатерина Алексеевна Первая была взята из...

– Мэри! – В голосе императрицы зазвенел металл. – Стыдись!

– А что – Мэри?! – дерзко передернула плечами великая княжна. – И почему – стыдись? Я что, должна стыдиться своих предков?! Их не выбирают, знаете ли. Мне рассказывали, что однажды досточтимый дядюшка, император Александр Павлович, Царство ему Небесное, спросил у Николая Михайловича Карамзина, кто был отцом государя Павла, нашего деда... И ему... ему сказали, что это был НЕ император Петр Федорович! И он перекрестился: «Слава Богу, мы русские!» А услышав от кого-то еще опровержение, снова перекрестился: «Слава Богу, мы законные!» Как вам это нравится?!

– Мэри, Мэри... – твердила чрезвычайно возмущенная императрица. – Что ты говоришь?!

– Я говорю, что наш предок, император Петр Великий, женился на солдатской э-э... прачке, а наша прапрабабка Елизавета Петровна и прабабка Екатерина Алексеевна Вторая водились с кем угодно, даже с истопниками! Да-да, и не делайте вид, что вы этого не знаете! Водились с кем попало! И это их, матушка, нисколько не унижало в глазах подданных, а тем паче – в своих собственных глазах. Значит, и ревность к их любовникам не может унижать!

– Боже... – простонала Александра Федоровна. – Откуда ты всего этого набралась?!

На ее лице застыло выражение ужаса, однако Николай Павлович откровенно хохотал.

– Ты должна знать, моя дорогая дочь, – выговорил он наконец, – что мужчина уходит не к женщине, а от женщины. Не к любовнице, а от жены. Именно поэтому любовниц у него может быть много, но жена остается одна. И только от нее это зависит – остаться единственной или быть покинутой женой. Она сама должна быть такой, чтобы мужчина не захотел уйти.

У Александры Федоровны сжалось горло. Нет, мужчины все-таки редкостно толстокожи, даже лучшие из них. Понятно, что Никс говорит все это для дочери, ради ее вразумления, но разве он не понимает, что это слышит его жена, которую он, он сам довел своей ненасытностью до того, что она превратилась в больную женщину, от которой муж не уходит лишь формально, а на деле...

Нет. Воли таким мыслям давать нельзя. Никс стал так ненасытен из любви к ней. А потом вошел во вкус и теперь просто не может удержаться. Это природа мужчины, не то снисходительно, не то с отвращением подумала Александра Федоровна. Они все таковы. Никс любит ее, она это знает, чувствует и понимает. Любит – только ее. А все прочие для него... Ну, это просто отправление естественных надобностей. Если жена воспринимает постель мужниной любовницы как некое отхожее место, ей становится гораздо легче жить, видит Бог!

¹⁶ Деталь (фр.)

¹⁷ Прекрасные садовницы (фр.).

И, успокоившись, она одобрительно улыbnулась словам мужа и даже покивала головой в знак поддержки. А может быть, это был тик?..

– Но если моего жениха волнует актриса, что же, мне в театр подаваться, чтобы он обращал на меня больше внимания?! – плаксиво выкрикнула Мэри.

Ни мать, ни отец не успели ответить – доложили о приезде великого князя Михаила Павловича и его жены, великой княгини Елены Павловны.

Все обрадовались тому, что неприятный разговор будет прекращен. Конечно, если бы за столом оказались другие дети, братья и сестры Мэри, он никогда не возник бы, однако прочие отпрыски императора, вместе с цесаревичем Александром, нынче гостили у Адлерберга. Граф Владимир Федорович был другом детства императора, да и вообще самым близким и верным его другом, не считая Петра Андреевича Клейнмихеля. Однако не могло быть и речи о том, чтобы великие князья и княжны поехали навестить Клейнмихелей. На то были свои причины, о которых дети императора, к счастью, не догадывались, даже Мэри, хотя она знала, повторимся, более других, потому что иметь в подругах Мари Трубецкую, которая то и дело все подсматривала и за всеми подслушивала, и не быть осведомленной, о чем надо и не надо, – сие просто немыслимо.

Михаил Павлович был семейным фаворитом. Несмотря на то что в свое время отец явно предпочитал его прочим детям лишь потому, что он родился не в семье наследника престола, а именно в императорской семье, ревности к нему со стороны старших не было никакой. Николай Павлович всегда называл поведение Михаила настоящим примером братской любви и преданности. Ему нравились и веселость Михаила, и то, что он был кладезем всевозможных шуток и острот, и его страсть к благотворительности (щедрость Михаила Павловича доходила порой до таких размеров, что гофмейстер его двора вынужден был не раз отказывать великому князю в выдаче сумм на благотворительность, чтобы привести кассу в порядок), и то, что он ненавидел фамильярность: например, никогда не позволял себе называть старших братьев, даже за глаза, уменьшительными именами. Добрый и веселый нрав уживался в нем с любовью к порядку и строгой дисциплине, подчиненные по воинской службе боялись его как огня.

А вот отношения с женой у него не ладились, хотя Елену Павловну, бывшую принцессу Шарлотту, многие называли очаровательной во всех отношениях. Они были совершенно разными людьми: Елена Павловна славилась своей образованностью, о великом же князе говорили, что он, кроме армейского устава, ни одной книги не открыл. Не скоро он смирился со своим браком и «простил» ей, что она была выбрана ему в жены. Немалую примиряющую роль сыграл тут театр, который оба страстно любили. И в семье уже знали: если Михаил и Елена куда-то едут вместе и не на светское мероприятие, где они просто обязаны быть, значит, путь их лежит в театр.

С этого и начался разговор – гости подсели к чайному столу, потому что всем было известно: Елена Павловна обожала миндальные пирожные, которые готовил императорский кондитер. Каждый раз коробочка этих пирожных отправлялась в Ораниенбаум или Михайловский дворец, смотря где в это время находилась чета великих князей, однако пройти мимо них Елена Павловна все равно не могла.

– Как вы уже догадались, мы в Большой, – сообщил Михаил Павлович, демонстративно отворачиваясь от блюда с пирожными: он не любил сладкого. – И хотели обсудить *une idee*¹⁸, которая пришла Елене. – Он комически приподнял брови, как бы удивляясь такому событию: его жене пришла в голову мысль! – Она хочет устроить у нас в Ораниенбауме домашний спектакль. Взять какой-нибудь водевиль – хоть Кони, хоть Каратыгина, который нынче в моду вошел, или еще что-то – и разыграть своими силами. Ну, пригласить твоих четырех

¹⁸ Одну идею (*фр.*)

кавалергардов, Александрина, кого-то из фрейлин... Может быть весело. Я, правда, опасаясь, что желающих не найдем. Придется приказывать...

– Все бы тебе приказывать, – усмехнулся Николай Павлович. – Можешь не сомневаться, что одну актрису ты уже нашел. – Он указал глазами на дочь.

Михаил Павлович недоверчиво покосился на племянницу, которая была известной копией своей матушки, а значит, образцом хороших манер, воспитания и всего такого, что великий князь называл обычно *ennui mortel*¹⁹. Николай шутит, конечно.

А между тем Мэри так и ахнула:

– Тетя, ты придумала великолепно! Дядя, как замечательно, правда? Разумеется, я согласна. Можете не сомневаться, что уговорю Максимилиана. Я непременно поеду с ним сегодня в театр и не пропущу ни одной постановки. Я хочу научиться этому ремеслу, чтобы играть, как Асенкова! Даже лучше!

Александра Федоровна всплеснула руками, не зная, стоит ли выразить одобрение этой идее, которая так захватила дочь и, похоже, понравилась мужу. Вообще, пожалуй, ничего плохого в этом нет... Михаил сказал, могут участвовать ее флигель-адъютанты... Наверняка Секрет тоже захочет играть, он так любит всякие постановки и живые картины! Пожалуй, надо согласиться.

А между тем, похоже, ее согласия или несогласия уже не требовалось.

– Ну как я рад, что договорились! – радостно воскликнул Михаил Павлович. – И про Асенкову ты очень кстати вспомнила, Мэри. Думаю, надо предложить ей быть у нас репетитором.

Николай Павлович заметил, как у невестки насмешливо дрогнули губы – и тут же лицо ее приняло прежнее выражение вежливого и оживленного внимания. Ну что ж, она хорошо знала мужа, а он хорошо знал брата. Итак, Михаил уже увлекся этой актрисой, Елена это отлично видит, но относится к этому, в отличие от глупенькой Мэри, как к сущей ерунде. Да, актрисами увлекаются, от них получают удовольствие, в них даже влюбляются. Но при всем при том их не принимают всерьез, они не способны внести разлад в семью. Никуда не денется Михаил – даже если и соблазнит это милое существо, он ее забудет на другой же день.

Хм... почему-то стало неприятно при мысли о том, что Михаил может соблазнить Асенкову.

Николай Павлович неприметно улыбнулся. «А ведь и ты сам, старый греховодник, был бы не прочь... не прочь, не прочь, оттого и послал ей те серьги, а не только в поощрение ее таланту...» В этой мысли не было никакого осуждения, и стариком он себя не ощущал – еще ведь и сорока не исполнилось. Не зря, не зря его называли первым кавалером России! О да, он всю жизнь нежно любил жену, но ведь приговор врачей разлучил их... И хотя Николай Павлович проводил ночи в опочивальне жены, спали они врозь: она – на императорской постели, он – на походной солдатской кровати. Но император оставался мужчиной, был молод, силен, красив, обворожителен с женщинами, они не давали ему проходу, да и он не пренебрегал ими... И все-таки в любовных отношениях его влекло не только плотское.

На собственном опыте он постиг, что люди, которые находятся в состоянии постоянного физического, нервного и интеллектуального напряжения, отдых для тела обретают в постельных играх, а для души – в отношениях сугубо платонических. Выражаясь проще, каждому, даже самому отъявленному, поборнику телесных страстей приятно думать, что существует на свете некая Прекрасная Дама, идеальный образ, от одного воспоминания о котором сладко сжимается и трепещет сердце. Она не принадлежит обожающему ее мужчине, но при этом не принадлежит и другому! И как же сладостно защищать и оберегать ее: не искушать возможно-

¹⁹ Смертная скука (фр.).

стью иных отношений, смирять себя ради нее, жертвовать ей всем, чем можно, умиляясь при этом ее невинностью – и собственным благородством...

Да, не только восхищение красотой и талантом Варвары Асенковой двигало Николаем Павловичем, когда он послал ей пресловутые бриллиантовые серьги, – он хотел отблагодарить ее за тот детский восторг, который светился в ее чудных синих глазах. Этим выражением когда-то пленила его принцесса Шарлотта, а потом – фрейлина императрицы Варвара Нелидова, любимая, бесконечно любимая. Этим двум женщинам он был предан сердцем, хотя физически изменял им беспрестанно. Темперамент и душа его были не в ладах, Николай Павлович знал это! Однако он научился смирять себя, когда это было нужно, вот и в отношениях с Варварой Асенковой ограничился подарком.

Сделав молодую актрису своей любовницей, он удовлетворил бы мимолетное желание, но разрушил бы ее судьбу. А она была всего лишь невинным ребенком! Он прекрасно понимал это, а обижать детей не любил. Если только она сама пожелает стать его фавориткой и даст ему это понять. Каким образом? Ну... Случается только то, чему суждено случиться.

Человек так уж создан, что не может не воспринимать себя центром мироздания. Николай Павлович полагал себя солнцем, которое имеет полное право обогреть или не обогреть кого-то из своих подданных. Но чуть ли не впервые в жизни он осознал, что признает за женщиной право самой решать, принадлежать ему или нет. От изумления он даже растерялся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.